

A full-page illustration of a soldier in a dark, tactical suit with glowing red eyes. The soldier is holding a submachine gun and standing in a city that is on fire and in ruins. The background shows a city skyline with smoke and fire.

*Сталкер Артём
по прозвищу Тень*

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

Сталкер Артём по прозвищу Тень

«Автор»

2026

Патрушев С.

Сталкер Артём по прозвищу Тень / С. Патрушев — «Автор»,
2026

Его зовут Артём, но имя давно стало тенью. Мир после Катаклизма не прощает ошибок. Здесь радиация разъедает плоть, мутанты охотятся в руинах, а люди порой страшнее зверей. В этом аду выживает лишь тот, кто умеет молчать. Артём - сталкер, чьё тело впитало столько смерти, что сама Пустошь признала его своим. Он ходит туда, где счётчики Гейгера захлёбываются воем, возвращается оттуда, откуда не возвращался никто. За это его боятся и называют Тенью. Но у каждого дара есть цена. С каждым шагом радиация пожирает его изнутри, оставляя на коже чёрные следы. Он инструмент, расходный материал в руках тех, кто правит остатками мира. Так было всегда. До тех пор, пока он не узнал правду. Катаклизм - не случайность. Разлом, источающий «поющую» радиацию, — творение человеческих рук. И если его не остановить, погибнет всё. Артём — единственный, кто способен войти в сердце ада и уничтожить его, но чтобы победить смерть, нужно самому стать ею.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Зона молчания	5
Глава 2. Эхо в песке	22
Глава 3. Бабочка в паутине	31
Глава 4. Слухи о Тени	47
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Сергей Патрушев

Сталкер Артём по прозвищу Тень

Глава 1. Зона молчания

Дождь начался перед самым рассветом — мелкий, серый, похожий на взвесь цементной пыли, которую ветер поднимает над руинами старых заводов. Он шёл не сверху вниз, как положено нормальному дождю, а словно бы висел в воздухе, просачивался сквозь жёлтую пелену утреннего тумана, оседал на всём — на ржавых крышах, на покореженных балках, на выжженной земле. Капли были холодными и какими-то маслянистыми, они оставляли на коже едва заметную плёнку, и те, кто постарше, говорили, что это остатки атмосферной химии, последствия тех давних взрывов, которые двадцать лет назад перекроили карту мира и саму природу вещей.

Артём лежал на продавленном матрасе, глядя в потолок, и слушал, как вода находит всё новые и новые щели в кровле. Это было похоже на тиканье — неравномерное, сбивчивое, словно сотня часов, каждые из которых показывают своё, неправильное время. Кап-кап-кап — в одном углу. Кап... кап... — в другом, с долгими паузами, от которых тишина между звуками становилась ещё более вязкой и тягучей. Он не спал уже вторые сутки — или, может быть, третьи. Время в рейдах текло иначе, сжималось и растягивалось, как резиновый жгут, и после возвращения требовалось несколько дней, чтобы внутренний хронометр снова начал отсчитывать часы и минуты, а не только «светло» и «темно», «опасно» и «можно идти».

Сон не шёл, вытесненный глухой, пульсирующей болью, которая поселилась в костях после Ядовитого леса. Она была особенной — не острой, не рвущей, а какой-то всепроникающей, словно само вещество костей изменило свою структуру, стало более хрупким и одновременно более тяжёлым. Иногда ему казалось, что он слышит, как внутри него что-то хрустит — микроскопические трещины, расходящиеся по рёбрам и позвонкам, словно лёд по весенней реке. Врач в Котловане, старый фельдшер с трясущимися руками и вечным запахом перегара, однажды сказал, что это кальций вымывается. «Радиация жрёт тебя изнутри, парень. Медленно, но верно». Он сказал это будничным тоном, каким говорят о погоде или о ценах на патроны, и Артём тогда ничего не ответил. Да и что тут скажешь?

Он сел на матрасе, спустив босые ноги на холодный бетонный пол, и несколько долгих секунд сидел неподвижно, прислушиваясь к собственному телу так, как механик слушает изношенный двигатель — пытаясь уловить посторонние шумы, перебои, признаки скорой поломки. Сердце билось ровно, размеренно, делая примерно шестьдесят ударов в минуту, — он знал это, потому что иногда, в моменты особого затишья, считал их. Но где-то глубоко, в тканях и сосудах, в лимфатических узлах и костном мозге, он чувствовал знакомое гудение. Это было не больно, но невыносимо — как зуд, до которого нельзя добраться, как звук на грани слышимости, который сводит с ума своей неопределённостью. Словно внутри поселился рой невидимых насекомых, питающихся радиацией, которую он впитал за эти четырнадцать дней в лесу.

Четырнадцать дней. Он прокрутил их в памяти, как прокручивают старую киноплёнку — отрывисто, фрагментами, без чёткой последовательности. Ядовитый лес встретил его тишиной, которая была страшнее любого звука. Деревья там мутировали, их стволы изгибались

под невозможными углами, кора лопалась, обнажая flesh, пульсирующую зеленоватым светом. Листья не шелестели — они вибрировали, издавая тонкий, почти ультразвуковой писк. Почва под ногами была мягкой, как гнилая плоть, и пахла она соответственно — сладковато, приторно, с примесью сероводорода. Он шёл через этот лес, ориентируясь по старым отметкам, оставленным на деревьях сталкерами, которые пришли сюда до него и, скорее всего, остались здесь навсегда. Он нашёл артефакт на десятый день, в сердцевине гигантского древесного ствола, который был мёртв и одновременно жив — внутри него пульсировала какая-то слизь, полупрозрачная, переливающаяся, и в самом центре этой слизи, словно желток в яйце, покоилась «Слеза». Чтобы достать её, пришлось погрузить руку в эту субстанцию по локоть, и кожа до сих пор помнила её прикосновение — холодное, обволакивающее, почти интимное. Ожог на предплечье остался именно оттуда — слизь оказалась кислотной. А трещина в ребре — от встречи с мутировавшим медведем, точнее, с тем, что когда-то было медведем, а теперь стало шестипалым кошмаром с костяными наростами на черепе и глазами, в которых не было ничего, кроме голода.

Он перетянул ребро сам, обрывком бинта, который носил в аптечке — старой, ещё довоенной, с выцветшим красным крестом. Обезболивающих не было, он их не брал принципиально, потому что боль была компасом, указывающим на серьёзность повреждения, и если заглушить её химией, можно было пропустить момент, когда тело окончательно откажет. Это была одна из его немногих личных философий — не бежать от боли, а слушать её, как слушают предупреждение. И он слушал. Слушал четырнадцать дней подряд, и теперь, вернувшись, продолжал слушать — эту затихающую, но всё ещё различимую симфонию собственного разрушения.

Барак скрипел и вздыхал, как старое, больное, но всё ещё живое животное. Артём знал его историю — когда-то, до войны, это был склад запчастей для сельхозтехники, длинное приземистое здание из гофрированного металла на бетонном фундаменте. Потом пришли взрывы, и склад опустел. Потом пришли люди, и он стал жильём. Теперь здесь обитало около двадцати человек — семьи с детьми, одинокие старики, пара таких же сталкеров, как и сам Артём. Все они жили за тонкими перегородками, сколоченными из фанеры и обломков мебели, и по ночам он слышал их — кашель, плач детей, скрип пружин, редкие, торопливые звуки близости, от которых становилось не неловко, а грустно, потому что в этом было что-то отчаянное, последнее, словно люди пытались доказать себе, что ещё живы.

Стены его угла покрывала изморозь ржавчины — причудливые узоры, в которых при желании можно было разглядеть карты несуществующих мест или лица давно умерших людей. Он иногда разглядывал их, когда не мог уснуть, и это было похоже на медитацию — бессмысленную, но успокаивающую. Пол был бетонный, с трещинами, из которых по ночам выползали мокрицы и какие-то бледные, лишённые глаз насекомые. Он не убивал их — какая разница? Они были такими же жителями этого мира, как и он сам, такими же продуктами радиации и эволюции, пошедшей не по тому пути. В углу стояло ведро для воды, накрытое куском фанеры, чтобы туда не падала ржавчина с потолка. Рядом — ящик, служивший одновременно столом и табуретом. На ящике — огарок свечи в консервной банке, коробок спичек, пустая гильза, которая выполняла роль стакана. Вот и всё. Всё его имущество, всё его место в этом мире — квадрат три на три метра с продавленным матрасом и видом на ржавую стену.

Он поднялся, стараясь не делать резких движений, чтобы не потревожить треснувшее ребро, подошёл к ведру, зачерпнул ладонью воду и плеснул в лицо. Холод обжёт кожу, прогнал остатки дрёмы. Вода была затхлой, отдавала железом и чем-то ещё — может быть, мхом,

может быть, плесенью, которая наверняка цвела где-то в глубине водопроводных труб, давно пришедших в негодность. Но это не имело значения. В Котловане не привередничали. Здесь пили то, что есть, ели то, что удалось найти или вырастить в подвальных теплицах под тусклыми фитолампами, и благодарили небеса за каждый прожитый день. Впрочем, насчёт небес — это он зря. В небеса здесь давно никто не верил. Не после того, что они обрушили на землю.

Маленькое треснувшее зеркало, приклеенное к стене куском изолянта, отразило лицо, которое он сам уже давно перестал рассматривать из праздного любопытства. Он смотрелся в него только по необходимости — проверить, нет ли кровоточащих ран, нет ли признаков лучевой болезни на коже. Зеркало показывало человека, которого он знал и не знал одновременно. Впалые щёки, обтянутые бледной, почти прозрачной кожей, под которой угадывались кости черепа — скулы, челюсть, надбровные дуги, все те анатомические детали, которые у обычных людей скрыты слоем живой плоти, а у него проступали, словно он уже начал превращаться в собственный рентгеновский снимок. Глаза, потерявшие прежний цвет — когда-то они были голубыми, он это помнил смутно, как помнят сон, — а теперь стали какими-то выцветшими, полинявшими, как старая акварель, которую слишком долго продержали на солнце. Тёмные волосы, слипшиеся от грязи и пота, свалившиеся в колтуны, которые он иногда просто вырезал ножом, потому что расчесать их было невозможно. Щетина, превратившаяся почти в бороду — рыжеватая, с проседью у висков, хотя ему было всего двадцать восемь. Двадцать восемь лет, а выглядел он на сорок — так говорили те, кто ещё решался к нему обратиться. Впрочем, таких становилось всё меньше и меньше. Люди вообще старались держаться от него подальше, и он их понимал. Он сам держался бы подальше от себя, если бы мог.

Он одевался медленно, методично, как автомат, выполняющий заложенную программу. Сначала — нижнее бельё, застиранное до дыр, но всё ещё сохранявшее остатки прочности. Потом — штаны из грубой брезентовой ткани, с наколенниками, вырезанными из старой автомобильной покрышки. Потом — рубаша, когда-то бывшая военной формой, теперь — мешковатая, выцветшая до неопределённого серо-зелёного оттенка, с заплатками на локтях и следами старой крови, которую уже не отстирать. Сверху — бронежилет, старая модель, ещё довоенная, с одной отсутствующей пластиной, которую он потерял в прошлом году во время стычки с мародёрами у Серых холмов. Без пластины левая сторона груди была уязвима, но он привык к этой асимметрии, как привыкают к отсутствию зуба или пальца, — компенсировал её тем, что всегда держался к противнику правым боком, выставляя защищённую сторону.

Ботинки — тяжёлые, армейские, на толстой подошве с металлическими вставками, которые он нашёл в развалинах военного склада два года назад. Они были велики на полразмера, и он носил две пары портянок, чтобы нога не болталась. Но зато подошва выдерживала гвозди, осколки стекла и даже кислотную слизь Ядовитого леса, разъедавшую обычную резину за несколько часов. За ботинками он ухаживал почти так же тщательно, как за оружием, — смазывал жиром, просушивал, менял стельки, вырезанные из кусков старого войлока. В пустоши обувь была важнее еды. Без еды человек может продержаться неделями. Без обуви он не пройдёт и дня.

«Глок-17» лежал на тумбочке у изголовья — единственный предмет в этом убогом жилище, к которому он прикасался с почти религиозной бережностью. Он взял его в руку и на несколько секунд замер, ощущая привычную, родную тяжесть. Семьсот граммов без патронов. С магазином — чуть больше. Идеальный баланс, выверенный австрийскими инженерами задолго до Катаклизма, в мире, где ещё существовали заводы, технологии, государства. Теперь ничего этого не было, а пистолет остался. Он пережил войны, взрывы, радиацию, смену эпох

и хозяев. Артём проверил затвор — тот скользнул назад мягко, почти бесшумно, выбросил патрон из патронника, который Артём поймал на лету, как ловят муху. Привычка. Рефлекс, введшийся глубже, чем любое сознательное действие. Он разобрал пистолет на части — ствол, затвор, рамка, возвратная пружина — разложил их на чистой тряпке и принялся чистить. Сначала сухой ветошью, удаляя пыль и остатки смазки. Потом маслом — тонким слоем, ровно столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Он знал этот механизм до последнего винтика, до последней зазубрины на шептале. Мог собрать и разобрать с закрытыми глазами, на ощупь, в полной темноте. Это было его продолжение, его второе «я», его единственный друг и собеседник в бесконечных странствиях по мёртвым землям.

Он не помнил, откуда взялся этот пистолет. Точнее, помнил урывками, как и всё, что касалось его жизни до того, как он стал Тенью. Кажется, он принадлежал человеку, которого он когда-то звал отцом. Кажется, тот человек был военным. Кажется, он погиб в первые дни Катаклизма, когда Артёму было восемь или девять, и с тех пор пистолет переходил из рук в руки, пока снова не вернулся к нему — уже взрослому, уже сталкеру, уже тому, кого называли Тенью. Образ отца почти стёрся из памяти. Он помнил только голос — низкий, спокойный, — и руки, большие, тёплые, которые держали его за плечи. И ещё — фразу, которую отец повторял часто, как мантру: «Оружие — это не сила. Это ответственность. Если взял в руки — будь готов отвечать за каждый выстрел». Артём отвечал. За каждый. Он вёл счёт, и счёт этот был неумолим.

Он собрал пистолет, вставил магазин, дослал патрон в патронник. Поставил на предохранитель. Сунул в кобуру на поясе — потёртую, кожаную, с выдавленной эмблемой, которую уже невозможно было разобрать. Всё. Теперь он был готов встретить этот день, каким бы тот ни был.

Рюкзак, с которым он вернулся из рейда, стоял в углу — тощий, почти пустой, если не считать главного груза. Всё, что он принёс, помещалось в маленьком свинцовом контейнере, перемотанном синей изолентой в несколько слоёв. Контейнер был старый, с помятой крышкой, которую приходилось поддевать ножом, чтобы открыть. Но свинец — материал надёжный. Он экранировал излучение артефакта, не давал ему распространяться и привлекать внимание — как мутантов, так и людей с дозиметрами. Там, внутри, покоилась «Слеза». Артём не знал, почему артефакты так называли. Когда-то, ещё в начале своего пути, он спрашивал у опытных сталкеров, и те объясняли: «Потому что похоже на слезу. Стекланную. Или на каплю ртути. И потому что плачет тот, кто её находит. Не от радости — от боли». Он тогда не понял. Теперь понимал. Каждый артефакт, который он доставал из гиблых мест, оставлял в нём частицу этой гиблости. Не физическую — ментальную, душевную, ту, что не измерить дозиметром и не вылечить антирадином.

Артефакт пульсировал собственным светом даже сейчас, сквозь свинцовые стенки — едва заметно, но если приглядеться в темноте, можно было увидеть слабое зеленоватое свечение, сочащееся из щелей. Он менял форму, словно капля ртути, — то сжимался в тугий шарик, то растекался лужицей, то вытягивался в нить, которая дрожала и вибрировала, как струна. Если долго смотреть на него, начинало казаться, что он живой. Что у него есть сознание — чужеродное, непостижимое, но сознание. Артём старался не смотреть долго. Он вообще старался не думать об артефактах больше, чем требовалось для выполнения задания. Они были грузом. Товаром. Средством обмена. Не более. Но иногда, в тишине бессонных ночей, он задавал себе вопрос, на который не было ответа: что это вообще такое? Откуда они берутся? Почему появляются именно в зонах с высоким радиационным фоном? Являются ли они порожд-

дением радиации, мутировавшей материей — или чем-то иным, пришедшим из-за грани, которую человечество переступило, само того не желая? Он не знал. И подозревал, что никто не знает, даже учёные из глухих убежищ, которые якобы изучали эту аномалию уже много лет.

«Слеза» стоила целое состояние. За неё можно было выручить столько, что хватило бы на год безбедной жизни в одном из глубоких убежищ, где ещё сохранились системы очистки воды и регенерации воздуха. Можно было купить место в бункере для себя, для женщины, если бы она у него была, для детей, если бы он мог их иметь. Можно было обменять её на лекарства — настоящие, не самодельные настойки на травах, а довоенные препараты в герметичных упаковках. Можно было приобрести оружие, снаряжение, транспорт, даже попытаться выкупить себе свободу у Крота, который держал половину сталкеров Котлована на невидимом поводке. Но Артём знал, что не получит ни того, ни другого, ни третьего. Он получит две сотни патронов. Недельный сухпай. И новый маршрут, который, скорее всего, будет ещё опаснее предыдущего. Так было всегда. Так будет и впредь. Он не жаловался — просто констатировал факт. Жаловаться было некому, да и бессмысленно. Этот мир не был устроен по законам справедливости. Он был устроен по законам силы и пользы. Кто сильнее, тот и прав. Кто полезнее, того и используют. Артём был полезен. Полезен своей проклятой особенностью, которая делала его единственным сталкером во всей округе, способным заходить в такие места, куда не сунулась бы даже хорошо оснащённая экспедиция с полным комплектом защиты.

Эта особенность проявилась не сразу. В детстве он ничем не отличался от других детей — болел, выздоравливал, получал ушибы и ссадины. Всё изменилось лет в пятнадцать, когда он впервые попал под хорошую дозу радиации в развалинах старой атомной станции. Все, кто был с ним, сгорели за неделю — классическая лучевая болезнь, тошнота, рвота, выпадение волос, отказ органов. А он выжил. Отлежался, оклемался и вышел из барака через две недели, бледный, осунувшийся, но живой. С тех пор его организм словно выработал защитный механизм — он абсорбировал радиацию, впитывал её, как губка впитывает воду, удерживал внутри, не давая ей разрушить жизненно важные системы немедленно. Но расплата всё равно приходила — медленно, исподволь, как вода точит камень. Кости становились хрупкими. Суставы ныли. Внутреннее гудение усиливалось с каждым новым рейдом, и он знал: настанет день, когда организм переполнится, как переполняется чаша, и тогда всё кончится. Быстро или медленно — он не знал. Но те, кто разбирался в таких вещах, говорили, что такие, как он, умирают по-разному. Одни — тихо, во сне, просто не просыпаясь утром. Другие — мучительно, когда внутренние органы один за другим отказывают, а кожа покрывается язвами. Третьи — быстро, в один момент, словно внутри что-то перегорает, как лампочка. Артём надеялся на третий вариант. Не из страха перед болью — он давно научился её терпеть, — а из нежелания быть обузой, умирать долго, на глазах у чужих людей, которые будут смотреть на него с жалостью и отвращением.

Он застегнул рюкзак, закинул его на левое плечо — чтобы правая рука оставалась свободной для оружия — и толкнул дверь. Она открылась с протяжным, почти человеческим стоном, словно не хотела выпускать его наружу, в этот серый, промозглый, пропитанный влагой и безысходностью мир. В лицо ударил сырой ветер, принеся с собой запахи Котлована, которые он знал до последнего оттенка: мокрая зола, машинное масло, дешёвый самогон, ржавчина, плесень, едкий дым от печей, в которых жгли всё, что могло гореть, — от древесных обломков до старых автомобильных покрышек, дающих густой чёрный дым, стелющийся по земле, словно траурный шлейф.

Котлован просыпался. Это было видно по движению на узких улочках, по голосам, доносящимся из-за фанерных стен, по запаху каши, которую варили в общем котле на центральной площади. Поселение получило своё название не случайно — оно располагалось в гигантской воронке, оставшейся от одного из первых взрывов, того, что двадцать лет назад стёр с лица земли военную базу вместе с арсеналом и всеми, кто на ней находился. Воронка была огромной — около километра в диаметре и почти сто метров в глубину в центре, хотя центр давно уже был засыпан и застроен. На её уступах, словно ласточкины гнёзда на скалах, лепились жилища — одни были выдолблены прямо в грунте, укреплены досками и металлическими листами, другие собраны из того, что удалось найти на поверхности: обломков кирпича, кусков рифлёного железа, автомобильных остовов, даже старых вагонных секций, каким-то чудом затянутых сюда и установленных на подпорках. Улочки, виляющие между этими постройками, были кривыми, узкими, местами — просто тропинками, вытопанными в глине. В дождь они превращались в грязевые реки, и жители передвигались по деревянным мосткам, проложенным на брёвнах. Мостки скрипели, прогибались, но держали — люди чинили их постоянно, потому что без мостков Котлован просто утонул бы в грязи.

Население посёлка составляло около трёхсот человек, и это было много по меркам нынешних времён. Люди здесь были разные: фермеры, выращивающие бледные, лишённые витаминов овощи в подземных теплицах; ремесленники, чинившие оружие и снаряжение; торговцы, перепродававшие всё, что можно было перепродать; самогонщики, гнавшие мутный напиток из всего, что бродило; сталкеры, уходящие в рейды и возвращающиеся — или не возвращающиеся; и просто те, кто не нашёл себе места нигде больше, — вдовы, сироты, калеки, старики, доживающие свой век в этом забытом богом уголке мёртвого мира.

Артём шёл по центральной улице, которая вела от жилых бараков к верхнему ярусу, где располагались административные здания — дом Крота, склад, казарма его личной охраны. Улица была относительно широкой — метра три, не больше, но по местным меркам это был проспект. По обеим сторонам тянулись торговые ряды — грубо сколоченные прилавки, за которыми сидели продавцы, укутанные в лохмотья, и предлагали свой товар. Чего тут только не было: старые радиодетали, которые могли пригодиться для починки чего угодно; консервные банки с этикетками, выцветшими до неузнаваемости; самодельные ножи и топоры; сушёные травы и корни, собранные на границе пустоши; патроны — россыпью, разных калибров, некоторые — переснаряжённые по несколько раз, с тусклыми гильзами и пулями, отлитыми кустарным способом; одежда, снятая с мёртвых, — и это видно было по тёмным пятнам, которые уже не отстирать; артефакты — но мелкие, слабые, почти выдохшиеся, годные разве что для продажи наивным новичкам, которые ещё верили, что любая светящаяся штучка может сделать их богатыми.

Люди расступались перед Артёмом, когда он проходил. Он не требовал дороги, не повышал голос, даже не смотрел на них — они сами отходили в стороны, прижимались к стенам и прилавкам, освобождая проход. Не из уважения. Не из страха — хотя страх тоже был, приглушённый, почти суеверный. Они просто не хотели стоять слишком близко. Для большинства жителей Котлована он был ходячим источником радиации, хотя любой дозиметр показал бы, что излучает он не больше, чем обычный человек, побывавший в зоне слабого заражения. Но люди не верили приборам. Они верили слухам, домыслам, своим иррациональным страхам, которые были сильнее любой логики. Им нужен был изгой — тот, на кого можно выплеснуть накопившийся ужас перед этим миром, тот, кто олицетворяет всё его уродство и безысходность. Артём стал этим изгоем много лет назад и с тех пор носил это звание с тем же молчаливым равнодушием, с каким носил свой бронежилет без одной пластины.

Шёпот за спиной сопровождал его, как эхо, как хвост кометы, сотканный из человеческих голосов.

— Смотри, Тень вернулся.

— Живой. Надо же. Который раз уже?

— С Ядовитого леса, говорят. Там же фон такой, что счётчики зашкаливают на подходе.

— Ему-то что. Он сам как ходячий реактор. Говорят, если рядом с ним постоять подольше — заболеть можно.

— Врёшь.

— А ты проверь. Вон, стой, я посмотрю.

И смех — нервный, придушенный, совсем не весёлый.

Он не оборачивался. Когда-то, в первые годы, это ранило его. Он помнил себя юношей, только что осознавшим свою особенность и ещё не привыкшим к ней, — как он пытался объяснить людям, что не опасен, что не заразен, что его организм поглощает радиацию, а не излучает её. Он помнил лица, которые не верили. Помнил женщину, отдёргившую ребёнка, когда он просто проходил мимо. Помнил торговца, который отказывался брать у него деньги из рук и требовал, чтобы он положил их на прилавок и отошёл. Помнил девушку, с которой у него что-то начиналось — робко, неуверенно, — и которая в итоге сказала: «Прости, но я не могу. Я боюсь. Я знаю, что ты хороший, но я боюсь». С тех пор он перестал пытаться. Он принял свою роль с тем же спокойствием, с каким деревья принимают зиму — не жалуясь, не сопротивляясь, просто существуя в новых условиях.

Дом Крота стоял на верхнем ярусе Котлована, на самой высокой точке, откуда открывался вид на всю воронку и окрестные пустоши. Это было двухэтажное здание, почти чудом сохранившее часть довоенной кладки — красный кирпич, местами обожжённый, местами выкрошенный, но всё ещё прочный. Крыша была перекрыта листами оцинкованного железа, которые гремели при сильном ветре, но не протекали. Окна второго этажа были почти целы — стёкла с одной трещиной, заклеенной полоской пластыря, но пропускали свет. На первом этаже окон не было вовсе — их заложили кирпичом ещё в первые годы, оставив только узкие бойницы для наблюдения и обороны. Крыльцо охраняли двое — угрюмые парни в брезентовых плащах с капюшонами, при помповых ружьях. Ружья были старые, но ухоженные, и держали их парни так, как держат люди, которые умеют стрелять и будут стрелять без предупреждения. Один из них — худой, с нервным тиком, который заставлял его постоянно щуриться, — узнал Артёма и кивнул, второй — коренастый, с бычьей шеей и татуировкой в виде змеи на предплечье — просто проводил его взглядом. Артём вошёл внутрь.

Внутри пахло едой. Этот запах ударил в нос с такой силой, что на мгновение перехватило дыхание. Пахло не концентратом из брикетов, не тушёнкой, которую можно выменять на рынке, а настоящей едой — мясом, тушёным с луком и морковью, хлебом, настоящим дрожжевым хлебом, и ещё чем-то, чему Артём не сразу нашёл название, а когда нашёл — не поверил самому себе. Это был запах кофе. Натурального, молотого кофе, который в нынешнем мире стоил дороже, чем некоторые артефакты. Крот жил на широкую ногу — не так, как жили до Катаклизма, но так, как не жил больше никто в радиусе сотен километров.

Глава Котлована сидел за массивным столом, заваленным бумагами, картами, какими-то деталями, патронами, и завтракал. Перед ним стояла тарелка с остатками омлета — насто-

ящего, из яичного порошка, но с добавлением свежей зелени, которую выращивали в его личной теплице, — и кружка с дымящимся кофе. Крот был грузным мужчиной лет пятидесяти с небольшим, рост имел средний, но из-за широких плеч и массивной фигуры казался крупнее, чем был на самом деле. Лицо его, обрюзгшее, с тяжёлыми складками вокруг рта и набрякшими веками, выражало довольство — то особенное довольство сытого человека в мире, где большинство голодает, которое было почти неприличным. Но Крота это не смущало. Он давно перестал заботиться о приличиях. Его маленькие, удивительно живые глаза — светлые, почти бесцветные, но очень подвижные — никогда не упускали ничего из виду. Они оценивали, подсчитывали, прикидывали, и Артём знал: эти глаза видят его насквозь, знают о нём больше, чем он сам о себе.

Когда Артём вошёл, Крот поднял голову от тарелки и расплылся в улыбке. Это была особенная улыбка — широкая, белозубая (у него были хорошие зубы, вставные, керамические, выменянные у какого-то бродячего дантиста за целое состояние), но при этом совершенно лишённая тепла. Так улыбается змея, перед тем как проглотить добычу. Так улыбается ростовщик, дающий ссуду под грабительский процент. Так улыбается сама смерть, когда приходит не с косой, а с выгодным предложением.

— Артём! — воскликнул он, откладывая вилку и вытирая жирные пальцы о матерчатую салфетку. — А я уж думал, не вернёшься. Честное слово, думал. Две недели прошло, а от тебя ни слуху ни духу. Обычно ты быстрее управляешься.

В его голосе звучала фальшивая забота, как у актёра провинциального театра, играющего роль доброго дядюшки. Артём не купился на неё. Он молча снял рюкзак, расстегнул его, достал свинцовый контейнер и поставил на край стола, отодвинув стопку бумаг. Контейнер глухо стукнул по дереву. Крот проводил его взглядом, но открывать не спешил. Он знал, что Артём не обманывает — никогда, ни при каких обстоятельствах. Эта странная честность была ещё одной его особенностью, такой же непонятной для окружающих, как и способность поглощать радиацию. В мире, где все лгали, изворачивались, пытались надуть друг друга при первой возможности, Артём говорил правду — или молчал. И это пугало людей больше, чем любые аномалии.

— Опять молчишь, — Крот усмехнулся, откидываясь на спинку стула, которая жалобно скрипнула под его весом. — Ты бы хоть «здрасте» сказал. Для приличия. Или «доброе утро». Или спросил, как у меня дела. Всё-таки я твой, так сказать, наниматель. Благодетель. Кто тебе работу даёт, кто о тебе заботится?

Артём посмотрел на него. Это был долгий, спокойный взгляд, в котором не читалось ни вызова, ни подострастия. Вообще ничего. Так смотрят на стену. Так смотрят на пустоту. Крот выдержал этот взгляд несколько секунд, а потом отвёл глаза — не потому, что испугался, а потому, что ему стало неудобно. В этих выцветших, потерявших цвет глазах было что-то такое, от чего нормальному человеку хотелось поёжиться. Может быть — пустота. Может быть — правда. Может быть — отражение собственной гнилой души, которое Крот предпочёл бы не видеть.

— Ладно, ладно, — пробормотал он, беря в руки контейнер. — Шучу я. Можешь не отвечать. Сейчас глянем, что ты там принёс.

Он поддел крышку ножом — тем самым жестом, который Артём делал сотни раз, — и приоткрыл её. Зеленоватое свечение вырвалось наружу, осветив снизу лицо Крота, и в этом неверном, болезненном свете оно стало почти демоническим. «Слеза» лежала на свинцовой подложке, переливаясь, меняя очертания — то капля, то шарик, то вытянутая нить. Она пульсировала в такт какому-то своему, нечеловеческому ритму, и в этом пульсе было что-то завораживающее, гипнотическое. Крот замер, глядя на артефакт, и на несколько секунд даже его циничная, всё просчитывающая физиономия приобрела выражение почти детского восторга. Почти — потому что дети не бывают такими жадными.

— Хороша, — выдохнул он наконец. — Ох, хороша. В Ядовитом лесу нашёл? Где именно? У старого завода? Или дальше, в чащобе?

Артём кивнул. Уточнять не стал, да это и не требовалось. Координаты были известны только ему — он никогда не делился маршрутами, это была его страховка. Пока он единственный знает, где искать ценные артефакты, он незаменим. А пока он незаменим, он жив.

— Отлично, отлично, — Крот закрыл контейнер с видимой неохотой, словно ему физически было больно расставаться с этим зелёным свечением. Он убрал его в ящик стола, запер на ключ, и лицо его снова приняло обычное деловое выражение. — Расчёт получишь у Михея на складе. Две сотни патронов и сухпай на неделю. Можешь идти.

Но он не встал из-за стола. И Артём не двинулся с места. Потому что оба знали: главное ещё не сказано. Две сотни патронов — это был не расчёт за «Слезу», это был аванс за новое задание, и Крот просто ждал, когда Артём это осознает. Он мог бы сказать сразу, но предпочитал тянуть — это была его игра, его способ показать, кто здесь главный. Артём знал эти правила. Он стоял и ждал.

Крот выдержал паузу ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы у нетерпеливого человека сдали нервы. Но Артём не был нетерпеливым. Он стоял, как изваяние, и в конце концов Крот сам нарушил тишину — вытащил из-под вороха бумаг карту, потрёпанную, с обгоревшими краями, исчерченную карандашными пометками, и расстелил её на столе, придавив углы патронами, чтобы не сворачивалась.

— Есть новое задание, — произнёс он тоном, не предполагающим отказа. — Видишь этот сектор?

Артём склонился над картой. Она была старая, ещё довоенная — топографическая, с обозначениями высот, рек, дорог, большинство из которых уже не существовало. Поверх типографской печати шли пометки от руки: кружки, крестики, пунктирные линии, цифры. Они отмечали аномалии, мутировавшие зоны, тропы, разведанные и неразведанные. Язык этих пометок был условным, понятным только посвящённым, и Артём его понимал. Палец Крота — толстый, с обкусанным ногтем — упирался в зону, обозначенную как «Стеклянная пустыня». Вокруг неё почти не было пометок — только несколько крестиков по краям, означающих «не возвращались», и вопросительный знак в самом центре.

Артём смотрел на карту и вспоминал всё, что знал об этом месте. Стеклянная пустыня появилась около десяти лет назад, гораздо позже основного Катаклизма. Никто не знал точно, что там произошло — возможно, взрыв какого-то экспериментального оружия, возможно, цепная реакция аномалий. Результат был один: песок на огромной территории спекся в стекло.

Не в тонкую корочку, как бывает после ядерного взрыва, а в толстый, многослойный пласт, который хрустел под ногами и резал подошвы, как битое бутылочное стекло. Воздух там был горячим даже зимой — от земли шёл жар, словно глубоко внизу работала гигантская печь. Аномалии встречались на каждом шагу — гравитационные ловушки, которые могли раздавить человека в лепёшку, или, наоборот, подбросить в воздух и разорвать на части при падении; электрические разряды, бьющие без видимой причины из совершенно ясного неба; зоны искажённого времени, где секунды растягивались в часы, а часы пролетали как мгновения. И радиация. Радиация там была такой плотной, что её, казалось, можно было увидеть невооружённым глазом — лёгкое зеленоватое марево, стелющееся над стеклянной поверхностью, словно туман над рекой. Обычный человек без тяжёлой защиты мог продержаться там не больше часа. Со сверхтяжёлой защитой — может быть, сутки. Артём — дольше. Никто не знал на сколько, потому что никто не проводил таких экспериментов. Но идти туда в одиночку, без прикрытия, без гарантий возвращения — это было безумием даже по его меркам.

— Там, в центре, — продолжал Крот, водя пальцем по карте, — старая обсерватория. Военная, не гражданская. Её построили ещё до войны, в восьмидесятых, для слежения за спутниками. Говорят, под ней — бункер. Трёхуровневый, глубокого заложения. Лаборатория. Занимались чем-то секретным, связанным с излучением. Экспериментировали. И в этой лаборатории, по слухам, есть кое-что ценное. Очень ценное.

— Что именно? — спросил Артём. Его голос прозвучал глухо, хрипло, как давно не смазанная дверная петля. Он редко задавал вопросы, предпочитая получать информацию молча, но сейчас случай был особый. Если он идёт на такое задание, он имеет право знать, зачем.

Крот поднял бровь. Артём спрашивал крайне редко, и это значило, что задание его заинтересовало — или, как минимум, насторожило. Это было хорошо. Заинтересованный человек работает лучше, чем равнодушный.

— Документация, — сказал Крот, понизив голос, словно их могли подслушать. — Исследования. Довоенные разработки, связанные с очисткой от радиации. Понимаешь, о чём я? Не маскировка, не экранирование — а именно очистка. Удаление радиоактивных частиц из почвы, из воды, из живых тканей. Технология, которую они якобы почти довели до ума перед самым концом. Если это правда... если там действительно есть работающая технология... Это изменит всё. Всё, Артём.

Он замолчал, давая сказанному осесть. За окном, за заложёнными кирпичом проёмами первого этажа, шумел дождь и ветер. Где-то вдалеке лаяла собака — или тварь, которая когда-то была собакой. В доме было тепло, почти уютно, и это тепло делало слова Крота ещё более нереальными, ещё более похожими на сказку, рассказанную у камина. Технология очистки. Спасение. Не для всех — для тех, кто сможет за неё заплатить. Крот не был альтруистом, и его мечты о всеобщем благе были бы смешны, если бы не были циничны. Если эта технология существует, он продаст её тому, кто больше заплатит, — убежищам, военным группировкам, может быть, даже тем, кто до сих пор контролирует остатки довоенной промышленности в глубоких подземных городах. И плевать он хотел на остальное человечество. Но Артёма сейчас интересовало другое. Не прибыль Крота. Не судьба мира. А то, что эта технология — если она существует — могла бы дать ему самому. Не вечную жизнь — на это он не рассчитывал. Но, может быть, несколько лишних лет. Или хотя бы облегчение этой вечной, изматывающей боли в костях, этого гула в крови, этого медленного угасания, которое он чувствовал каждой клеткой.

— Я знаю, о чём ты думаешь, — Крот подался вперёд, и его голос приобрёл вкрадчивые, почти интимные интонации, которые он использовал, когда хотел убедить собеседника в чём-то особенно важном. — Ты думаешь: «Это самоубийство». Так вот, послушай. Я не посылаю тебя на смерть. Я не идиот, чтобы терять лучшего сталкера. Я посылаю единственного человека во всём этом чёртовом мире, который может туда сходить и вернуться. Ты же сам знаешь, на что способен. Ты можешь ходить там, где любой другой сдохнет за час. Твоя... особенность. Это не проклятие, Артём. Это дар. Это твой билет в историю.

— Или в могилу, — тихо сказал Артём.

Крот рассмеялся — коротко, сухо, словно кашель.

— Все мы когда-нибудь там окажемся. Но не все умирают с пользой. Подумай. Ты приносишь мне эти документы — и я отпускаю тебя. Даю слово. Снаряжение, патроны, карты, всё, что нужно для дальней дороги. Хочешь — иди в Южные земли, там, говорят, радиации меньше. Хочешь — оставайся, но уже не как мой сталкер, а как свободный человек. Будешь жить наверху, а не в этом бараке. Заведёшь друзей. Может, даже семью. Разве ты не хочешь этого, а?

Артём молчал. Хотел ли он этого? Когда-то — да. Давно, в другой жизни, которая теперь казалась чужой, как прочитанная книга. Тогда он ещё мечтал о нормальной жизни — дом, женщина, дети, вечерние разговоры у огня. Но с годами мечты стёрлись, как стираются буквы на старых вывесках. Сейчас он не знал, хочет ли он чего-то вообще. Его желания свелись к базовым потребностям — есть, пить, спать, не умереть в ближайшие сутки. И задание Крота, при всей его безумности, давало ему хотя бы цель. Хотя бы направление. Хотя бы временный смысл существования, которого у него не было уже много лет.

— Я пойду, — сказал он.

Улыбка Крота стала шире.

— Вот и славно. Выйдешь завтра на рассвете. Снаряжение получишь у Михея по особому списку — противогаз с новыми фильтрами, дозиметр, полный комплект антирада, хотя тебе он, наверное, и не понадобится. И вот что... — Он помедлил, покрутил в пальцах пустую гильзу, которая лежала на столе, словно раздумывая, стоит ли продолжать. — Будь осторожен там. Не из-за радиации. В Стеклой пустыне, говорят, есть что-то ещё. Никто толком не знает что — те, кто уходил глубоко, не возвращались, а те, кто возвращался с окраин, несли какую-то чушь. Про звуки. Про голоса. Про тени, которые движутся сами по себе, хотя ветра нет. Может, галлюцинации от излучения. Может, и нет. Ты уж постарайся сохранить ясность рассудка. Он тебе пригодится.

Артём кивнул, развернулся и вышел, не прощаясь. Крот проводил его взглядом, и в этом взгляде было что-то, чего сам Крот, наверное, не смог бы объяснить. Смесь восхищения, зависти и суеверного ужаса перед человеком, который идёт на смерть с таким же спокойствием, с каким обычные люди идут в магазин.

Склад Михея располагался на нижнем ярусе, у самого входа в катакомбы — систему подземных ходов, которая тянулась под Котлованом на многие сотни метров. Раньше, до войны,

это были коммуникационные тоннели военной базы — кабельные коллекторы, вентиляционные шахты, запасные выходы. Теперь они служили убежищем на случай атаки, складскими помещениями и, ходили слухи, тайными путями, по которым Крот переправлял свои наиболее ценные товары, не желая светить их перед жителями. Сам склад представлял собой длинный, вытянутый барак, заставленный ящиками, бочками и стеллажами, на которых громоздилось всё, что только можно представить: банки с консервами, коробки с патронами, канистры с горючим, мотки проводов, запчасти для оружия, одежда, обувь, фильтры для противогозов, батареи, аккумуляторы, свёртки с сухими пайками, какие-то приборы — то ли измерительные, то ли просто металлолом, который ждал своего часа.

Михей, старый одноглазый интендант, был одним из немногих людей в Котловане, кто общался с Артёмом почти нормально. Он потерял глаз лет пятнадцать назад, в одной из первых экспедиций в пустошь, но не озлобился, а как-то... высох. Стал тихим, философским, склонным к долгим размышлениям о судьбе человечества и природе вещей. Сейчас ему было за шестьдесят, он носил чёрную повязку на глазу и длинную седую бороду, которую заплетал в косицу, чтобы не мешалась при работе. Увидев Артёма на пороге склада, он отложил учётную книгу, в которую что-то записывал, и улыбнулся — скупой, одними уголками губ, но искренне.

— Вернулся, — констатировал он. — Ждал тебя вчера. Задержался?

Артём пожал плечами: лес, мутант, обходной маршрут. Михей кивнул, не требуя подробностей. Он знал, что от Артёма их не дождёшься, и давно с этим смирился.

— Расчёт от Крота? — спросил он, уже поворачиваясь к стеллажам.

Артём кивнул. Михей зашевелился, зашуршал ящиками, зазвенел банками. Он двигался медленно, но сноровисто — сказывались годы практики. На стол перед Артёмом легли: две сотни патронов калибра девять миллиметров, упакованные в промасленную бумагу; сухпай — шесть банок тушёнки, пачка галет, плитка концентрата, соль в тряпичном мешочке; и дополнительно — небольшой свёрток, который Михей положил отдельно.

— От меня, — пояснил он, перехватив взгляд Артёма. — Там сушёное мясо и немного табака. Вид у тебя такой, будто ты уже неделю не ел. И не надо на меня так смотреть. Я не из жалости. Просто если ты сдохнешь с голоду, кто будет таскать Кроту его побрякушки? Мне же больше работы будет.

Артём принял свёрток. Он не умел благодарить словами — это было для него так же трудно, как для других — петь или танцевать. Но он задержал взгляд на Михее чуть дольше обычного, и этого было достаточно. Старик понял. Он всегда понимал.

— Слышал, куда тебя посылают? — спросил он, понизив голос и придвинувшись ближе. Глаз его — единственный, но зоркий, — буравил Артёма, словно пытаясь прочесть на его лице то, что тот не скажет словами. — Стеклянная пустыня. Это правда?

Артём кивнул.

Михей помолчал. Потом вздохнул — тяжело, со свистом, как старый кузнечный мех.

— Дурное место, — сказал он негромко, но веско, словно ставил печать на документе. — Очень дурное. Я там был, сразу после того, как она образовалась. Тогда ещё никто не знал, что это такое. Думали — просто ещё одна аномальная зона, каких много. Мы отрядом шли, пятнадцать человек. Хорошие ребята, опытные, не первый год в пустоши. Снаряжение — лучшее, что тогда можно было достать. Защита, оружие, приборы. И знаешь что? Вернулись трое. Я в их числе. И лучше бы мы все там остались.

Он снова замолчал, и на этот раз пауза затянулась. Михей смотрел куда-то поверх плеча Артёма, в темноту склада, и взгляд его был отсутствующим — он видел не ящики и стеллажи, а что-то другое, что-то, что случилось много лет назад и до сих пор не отпускало его по ночам.

— То, что мы там видели, — продолжил он наконец, — это не описать. И не забыть. Не радиацией единой живо то место. Там что-то ещё. Что-то... живое. Или бывшее живым. Или никогда не бывшее, но притворяющееся. Не знаю. Но каждый из нас, кто вернулся, оставил там часть себя. И не в переносном смысле, Артём. В прямом. Я вот глаз оставил. А Лёнька Седой, он у нас за старшего был, — так тот вообще рассудком тронулся. Через месяц повесился в своём бараке. Без записки, без объяснений. Просто не выдержал. Потому что то, что он видел там, оно пришло за ним сюда. Понимаешь?

Артём молчал. Он слушал. Он умел слушать — это было одно из немногих умений, которые он сохранил и даже развил. Михей оценил это.

— Ты, конечно, сам по себе, — сказал он, возвращаясь от воспоминаний к реальности и снова принимаясь за учётную книгу. — Тень. Тебя так просто не возьмёшь. Но даже для тебя это может быть чересчур. Так что вот... я тебе противогаз хороший положил. Не тот, что по списку, а получше. С новым фильтром комбинированного действия — не только от радиации, но и от химии, и от биологии. И дозиметр новый, стрелочный. Береги его. И себя побереги, если получится.

Он сунул Артёму в руки ещё один свёрток, на этот раз продолговатый и тяжёлый. Судя по весу — фляга.

— Это не вода, — пояснил Михей с кривой ухмылкой. — Спирт. Медицинский. Для дезинфекции ран. Или для храбрости. Или для того, чтобы забыться, если станет совсем неважно. В общем, сам решишь, как использовать.

Артём спрятал флягу во внутренний карман, застегнул молнию. Он посмотрел на Михея — долгим, спокойным взглядом своих выцветших глаз. Михей выдержал этот взгляд, хотя это было непросто. И в ответ — едва заметно кивнул. Этого было достаточно.

К тому времени, как Артём покинул склад и снова вышел на поверхность, день уже клонился к вечеру. Жёлтое марево над Котлованом сгустилось, окрасилось в ржавые тона — солнце, невидимое за плотным слоем облаков и пыли, уходило за горизонт. Дождь прекратился, но туман стал гуще. Он поднимался от подножия воронки, медленно, неумолимо, как вода в затопляемом трюме, затягивал бараки, лестницы, переходы. Люди прятались по домам — вечер в пустоши был временем, когда на поверхность выползали твари, которые днём отсиживались в норах и развалинах. Улицы опустели. Только редкие фигуры спешили к своим жилищам, кутаясь в плащи, пряча лица от пронизывающего ветра. И среди этих фигур Артём

шёл не спеша, как всегда — ровным, размеренным шагом, который не был ни быстрым, ни медленным, а точно соответствовал какому-то внутреннему ритму, известному только ему.

Он не пошёл сразу в барак. Что-то тянуло его наверх — не мысль, не осознанное желание, а скорее инстинкт, привычка, выработанная годами. Он обогнул своё жилище, миновал покосившийся забор из колючей проволоки, поднялся по шаткой металлической лестнице, которая при каждом шаге издавала такой звук, будто вот-вот рухнет. Лестница вела на смотровую площадку — остаток какой-то старой конструкции, может быть, поста противовоздушной обороны, может быть, просто наблюдательной вышки. Сейчас от неё остался только ржавый балкон, нависающий над обрывом на высоте метров двадцати. Перила давно обвалились, и стоять там нужно было осторожно — один неверный шаг, и полетишь вниз, на острые обломки, которыми было усеяно дно воронки. Но Артём не боялся высоты. Он вообще мало чего боялся — по крайней мере, из того, что можно было потрогать или увидеть.

Отсюда открывался вид на пустошь — бескрайнюю, серо-жёлтую, сливающуюся на горизонте с таким же серо-жёлтым небом. На западе, за полосой выжженной земли, чернел Ядовитый лес — отсюда он казался просто тёмным пятном, но Артём знал каждый его уголок, каждую тропу, каждую аномалию, поджидающую неосторожного путника. Он только что вернулся оттуда, и это было странное чувство: смотреть на место, которое едва не убило тебя, из безопасного далека. Странное, но знакомое. Он смотрел так уже много лет — уходил, возвращался, снова уходил. И каждый раз, глядя на пустошь с этого балкона, он думал об одном и том же: сколько ещё раз он сюда вернётся? И настанет ли день, когда он уйдёт и не оглянется?

На востоке, за холмами, покрытыми серым, как пепел, мёртвым кустарником, лежала Стеклянная пустыня. Даже сейчас, на закате, в тумане, он мог различить слабое свечение над горизонтом — бледно-зелёное, пульсирующее, словно биение больного сердца. Это светилась радиация. Или что-то другое. Кто знает, что там, в сердце пустыни, где песок спекся в стекло, где воздух дрожит от невидимого жара, где тени живут своей собственной, непостижимой жизнью? Никто не знает. Те, кто уходил глубоко, не возвращались. Те, кто возвращался с окраин, не могли рассказать ничего внятного. Но завтра он пойдёт туда. Он, Артём по прозвищу Тень, — человек, который не говорит, а действует, человек, который носит в себе смерть, как другие носят ребёнка, человек, который давно перестал надеяться и всё ещё продолжает жить. Он пойдёт туда и, может быть, найдёт ответ. Или конец. Или и то, и другое.

Шаги за спиной он услышал не сразу — так тихо, так осторожно они приближались. Но когда услышал, реакция была мгновенной, отточенной до рефлекса: разворот на пятках, правая рука рвёт пистолет из кобуры, палец ложится на спусковой крючок, дуло смотрит туда, откуда пришёл звук. Всё это заняло долю секунды — меньше, чем нужно, чтобы произнести слово «опасность». И через эту долю секунды он увидел, что на другом конце ствола — не мутант, не мародёр, а девушка. Совсем молодая, лет шестнадцати, не больше. Она стояла на верхней ступеньке лестницы и смотрела на него расширенными от ужаса глазами. Одна рука её была замотана грязным бинтом, другая вцепилась в перила лестницы так, что побелели костяшки.

— Извините, — проговорила она, и голос её дрожал, срывался, как у человека, который изо всех сил пытается не заплакать. — Извините, пожалуйста. Я не хотела вас напугать. Я просто... я...

Она запнулась, не в силах подобрать слова. Артём опустил пистолет, медленно, осторожно, как опускают руку, которую держали над огнём. Он убрал его в кобуру и замер — не

двигаясь, не говоря ни слова, просто глядя на неё. Девушка перевела дух — прерывисто, судорожно — и продолжила, уже немного смелее:

— Меня Лина зовут. Вы Тень, да? Тот самый? Мне сказали, вы живёте здесь. Я вас искала.

Артём молчал. Он не спрашивал, зачем она его искала — он ждал, когда она скажет сама. И она сказала, справившись с дрожью в голосе:

— Мой брат туда ушёл. В Стеклянную пустыню. Два месяца назад. Он тоже был сталкером, как и вы. И не вернулся. Ни слуху, ни весточки, вообще ничего. Может быть... если вы его встретите... или узнаете что-то... — Она дотронулась до своей щеки, проведя пальцем от виска к уголку рта. — У него шрам. Вот здесь. Старый, ещё детский, мы с ним в детстве подрались, я его камнем... Он говорил, что это его счастливый шрам. Может, он ещё жив. Может, вы его найдёте.

Она полезла в карман своей залатанной куртки и вытащила что-то, завернутое в грязную тряпицу. Протянула Артёму — рука дрожала, но взгляд был решительным, почти отчаянным, как у человека, который ставит всё на последнюю карту.

— Вот. Это амулет. Он говорил, что он приносит удачу. Я знаю, вы, наверное, не верите в такое. Но я верю. И он верил. Возьмите его. Может, он вам поможет. Может, он приведёт вас к Илье.

Артём медлил. Он стоял и смотрел на этот свёрток в протянутой руке, и внутри него что-то шевелилось — не мысли, не чувства, а скорее тени тех и других. Он не верил в амулеты. Не верил в удачу. Не верил в судьбу и высшие силы. Но в глазах этой девочки было что-то такое, что напоминало ему о давно забытом. О том, как он сам когда-то верил. В отца, который обещал вернуться и не вернулся. В мать, которая улыбалась и говорила, что всё будет хорошо, хотя вокруг рушился мир. В людей, которые казались добрыми, пока не показывали свою истинную сущность. Эта девочка верила, что её брат жив. И эта вера была такой хрупкой и такой сильной одновременно, что он не мог её разрушить. Не мог просто развернуться и уйти.

Он протянул руку и взял свёрток. Развернул тряпицу — внутри оказалась маленькая фигурка, вырезанная из кости: птица с расправленными крыльями. Грубая работа — видно, что резали обычным ножом, без специальных инструментов, — но в ней чувствовалась какая-то энергия, какая-то забота, вложенная в каждый срез. Птица рвалась в небо, которого никогда не видела. Птица, рождённая в грязи и темноте, мечтала о полёте.

— Спасибо, — прошептала Лина. И прежде чем Артём успел что-либо сделать — кивнуть, моргнуть, подать хоть какой-то знак, — она развернулась и быстро, почти бегом, спустилась по лестнице и растворилась в тумане. Только стук шагов по металлическим ступеням ещё несколько секунд эхом разносился по пустым улицам.

Артём остался один. Он повертел фигурку в пальцах — она была тёплой, словно хранила тепло рук, которые её держали. Птица смотрела на него пустыми глазницами, и в её молчании было что-то такое же непостижимое, как и в его собственном. Он спрятал фигурку в нагрудный карман, рядом с сердцем. Легла она удобно, словно всегда там и была.

Ночь опустилась на Котлован быстро — здесь, в низине, окружённой холмами, темнело раньше, чем на равнине. Артём вернулся в свой барак, зажёл огарок свечи, поставил его в консервную банку. Колеблющийся огонёк осветил убогую обстановку, отбросил причудливые тени на ржавые стены. Он сел на матрас и принялся перебирать снаряжение — методично, тщательно, как всегда. Разложил патроны по подсумкам. Проверил «Глок» — ещё раз, хотя знал, что он в идеальном состоянии. Осмотрел противогаз, данный Михеем, — понюхал резину, проверил клапаны, протёр стёкла. Уложил в рюкзак сухпай, флягу со спиртом, бинты, аптечку, дозиметр. Сверху положил запасную одежду — тонкую, но тёплую куртку из верблюжьей шерсти, добытую когда-то давно у мёртвого караванщика. Карту, которую дал Крот, он изучил ещё раз, запомнил маршрут, прикинул время. Идти предстояло дня три-четыре, если без задержек. Но в Стеклоанной пустыне задержки были неизбежны.

Потом, когда все дела были переделаны, он достал из-под подушки книгу. Это был старый, потрёпанный томик в твёрдой обложке, с выцветшим золотым тиснением: «Атлас звёздного неба». Он нашёл её много лет назад, в развалинах публичной библиотеки, в мёртвом городе, названия которого он уже не помнил. Книга лежала под обломками стеллажа, чудом уцелевшая, лишь немного подпалённая по краям. Он взял её тогда просто так, без всякой цели, — может быть, потому что картинки были красивые. А потом, читая её при свете костра, в долгих одиночных рейдах, он открыл для себя целый мир. Оказывается, там, за жёлто-серым пологом облаков, существовали звёзды. Тысячи звёзд, миллиарды, рассыпанные по чёрному бархату космоса. Галактики, туманности, планеты. Бесконечность, в которой Земля была лишь пылинкой. Это потрясло его тогда — не масштабом, не величиим, а тем, что где-то там, возможно, есть миры, где нет радиации. Где нет мутантов. Где нет людей вроде Крота и изгоев вроде него самого. И эта мысль стала для него своеобразным якорем — когда становилось совсем невыносимо, он вспоминал о звёздах. О том, что даже если эта планета умерла, вселенная продолжает жить.

Сейчас он не читал книгу. Он просто держал её в руках, ощущая шероховатость обложки, вдыхая запах старой бумаги и плесени. Она была его талисманом, его настоящим амулетом — в отличие от костяной птицы, которую дала Лина. Книга не обещала удачи. Она просто напоминала о том, что есть вещи больше, сильнее, вечнее, чем этот мир. И это помогало.

Свеча догорела и погасла, утонув в лужице расплавленного воска. Темнота стала полной, абсолютной — такой бывает только в бараках Котлована по ночам, когда не светит луна и не горят фонари. Артём лёг на матрас, закрыл глаза, но спать не торопился. Он слушал. Ветер завывал в щелях, стучал оторванным листом железа где-то на крыше, приносил далёкие звуки — лай мутировавших собак, скрип деревьев, чей-то плач или смех. Звуки в Котловане были обманчивы — никогда нельзя было сказать наверняка, плачет ли ребёнок в соседнем бараке или это кричит ночная тварь, подкраившаяся к границе посёлка. Но Артём привык. Он различал эти звуки, как музыкант различает ноты. Это была симфония мира, в котором он жил, — траурная, минорная, но единственная доступная.

Завтра на рассвете он уйдёт. Снова наденет противогаз, забросит за плечо рюкзак, поправит кобуру. Пройдёт по спящим улицам, никем не замеченный, как и положено тени. От него не будут ждать прощальных слов — потому что он никогда их не говорил. От него не будут ждать возвращения — потому что никто, кроме Михея, не верил, что он возвращается. Он просто исчезнет, растворится в жёлтом тумане, и жители Котлована, проснувшись, увидят лишь пустой барак и подумают: «Тень ушёл. Может, навсегда. Может, и хорошо».

Он усмехнулся в темноте — беззвучно, одними губами. Усмехнулся своей судьбе, своей роли живого инструмента, своему одиночеству. А потом закрыл глаза и всё-таки провалился в сон — глубокий, тяжёлый, без сновидений. Последняя ночь перед дорогой. Последняя ночь в Котловане — возможно, последняя вообще.

И где-то на грани сна и яви, перед тем как окончательно отключиться, он подумал о птице в нагрудном кармане, об её костяных крыльях, расправленных для полёта, который никогда не состоится, о девушке по имени Лина, которая верила, что её брат жив, о звёздах, которых он никогда не увидит. И о том, что, возможно, завтра, в Стекло́йной пустыне, его ждёт не только смерть, но и ответ. Или хотя бы покой. Этого было достаточно, чтобы заснуть.

Глава 2. Эхо в песке

Границу Стекло́нной пустыни он пересёк на рассвете третьего дня пути. До этого были двое суток однообразного, выматывающего перехода через буферную зону — холмистую местность, поросшую жёстким, как проволока, кустарником цвета пепла. Кустарник этот хрустел под ногами, ломался с сухим треском, и идти через него было всё равно что продираться сквозь гигантскую металлическую щётку. Несколько раз Артём наткнулся на старые воронки — одни были заполнены мутной, маслянистой водой, от которой поднимался едкий пар, другие обнажали слои грунта, спекшиеся в монолитную массу. Он обходил их стороной, сверяясь с картой и стрелкой дозиметра, которая уже начала подрагивать, отклоняясь от нулевой отметки.

На ночлег он останавливался в развалинах — сначала это была покосившаяся автозаправка с выбитыми стёклами и скелетом легкового автомобиля, вросшего в асфальт, потом — остатки фермерского дома, от которого остались только фундамент и часть стены с дверным проёмом, ведущим в никуда. Он спал урывками, по два-три часа, привалившись спиной к рюкзаку и положив пистолет на колени. Сон был поверхностным, тревожным — любой шорох, любой порыв ветра выдёргивал его обратно в реальность, заставляя вслушиваться в тишину, которая здесь никогда не была полной.

А на третий день кустарник кончился. Просто оборвался, словно кто-то провёл невидимую черту, за которой не росло ничего. Земля под ногами стала твёрдой, спекшейся, покрытой сетью мелких трещин. И вскоре началось стекло.

Сначала это были просто отдельные вкрапления — маленькие, с ноготь величиной, прозрачные камешки, поблёскивающие в утреннем свете. Артём нагнулся, поднял один, повертел в пальцах. Края были острыми, как бритва, — он порезался бы, если бы не плотные перчатки. Это был обычный кварцевый песок, который когда-то, в результате невообразимого жара, расплавился и застыл, превратившись в аморфную стеклянную крошку. Чем дальше он шёл, тем больше становилось этих вкраплений, тем крупнее они делались, пока наконец не слились в сплошной покров.

И тогда он увидел её по-настоящему.

Стекло́нная пустыня расстилалась перед ним до самого горизонта — бескрайняя, переливающаяся, мёртвая. Она не была плоской, как можно было бы ожидать. Жар, породивший её, был такой силы, что земля плавилась и текла, как воск, а потом застывала волнами, гребнями, причудливыми завихрениями. Казалось, будто кто-то огромный смял поверхность планеты, как сминают лист бумаги, а потом окунул её в расплавленное стекло и оставил остывать. Волны эти были разной высоты — от небольших, по щиколотку, до настоящих гребней в человеческий рост и выше, с острыми, как лезвия, краями.

Солнце, поднявшееся над горизонтом, играло на этих стеклянных волнах, преломлялось, разбивалось на тысячи осколков, создавая иллюзию движения. Пустыня дышала, пустыня жила своей собственной, неорганической жизнью. Артём стоял на краю этого великолепия и чувствовал, как внутри него поднимается что-то среднее между восхищением и ужасом. Красота здесь была нечеловеческой, чуждой — такой красивой могла быть только смерть, когда ей надоело притворяться уродливой и она решила показать своё истинное лицо.

Он поправил лямки рюкзака, проверил крепление противогаза на поясе — пока что он не надевал его, воздух на границе был ещё терпим, хотя язык уже ощущал металлический привкус, верный признак повышения фона. Дозиметр на запястье щёлкал мерно, с интервалом примерно в две секунды. Пока приемлемо. Дальше будет хуже.

И он шагнул вперёд.

Звук, с которым его ботинки опустились на стеклянную поверхность, был ни на что не похож. Хруст — слишком слабое слово. Это был именно тот звук, которого он ожидал и которого боялся: звонкое, пронзительное крошево, словно он шёл не по земле, а по горе битой посуды. Каждый шаг рождал целую симфонию треска, скрежета, звона, и звуки эти разносились по пустыне далеко, очень далеко — здесь, на открытом пространстве, где не было ни стен, ни растительности, ни чего-либо ещё, что могло бы поглотить эхо.

Эхо. Вот что было хуже всего. В Стекло́нной пустыне у звуков была своя, особая жизнь. Каждый хруст под подошвой множился, отражался от стеклянных волн, возвращался искажённым, наслаивался сам на себя, создавая иллюзию того, что кто-то идёт рядом. Или сзади. Или спереди. Артём несколько раз ловил себя на том, что оборачивается, проверяя, нет ли кого за спиной, хотя разумом понимал: это всего лишь акустический обман. Но инстинкты, отточенные годами выживания, не слушались разума. Они кричали: «Ты не один! Опасность! Обернись!»

Он шёл уже около трёх часов, когда понял, что пора сделать привал. Не потому что устал — он мог идти и дольше, — а потому что нужно было переосмыслить маршрут. Карта Крота была неточной, она давала лишь общие ориентиры, а реальная пустыня оказалась сложнее. Волны стекла создавали лабиринт, в котором легко было заблудиться. К тому же многие из них были коварны: сверху казались монолитными, а на деле под ними были пустоты, промоины, и, наступив на такую, можно было провалиться в яму, утыканную острыми, как копыя, осколками.

Он нашёл относительно ровную площадку — стеклянное плато, приподнятое над окружающей местностью метра на два, — и забрался на него. Отсюда открывался хороший обзор. Сел, не снимая рюкзака, только ослабив лямки, достал флягу с водой. Вода была тёплой, с металлическим привкусом, но это не имело значения. Он пил медленно, маленькими глотками, экономя каждую каплю. Кто знает, сколько ещё идти. Кто знает, найдётся ли здесь вода вообще.

Дозиметр на запястье щёлкал чаще — уже раза три в секунду. Фон поднимался. Артём чувствовал это не только по прибору, но и по знакомому ощущению внутри — гул, который всегда жил в нём, стал громче. Он словно резонировал с излучением, отзывался на него, как камертон на звук той же частоты. Это не было больно — пока. Боль придёт позже, как всегда. Сейчас это было просто напоминание: ты на заражённой территории, ты в опасности, ты не должен здесь находиться. Но он здесь находился. И пойдёт дальше.

Он уже собирался встать и продолжить путь, когда услышал это.

Сначала ему показалось, что снова эхо. Какой-то тонкий, едва различимый писк на границе слышимости. Но этот звук отличался от всех прочих. Он не был случайным, не был порождён ветром или оседающим стеклом. В нём чувствовался ритм. Рисунок. Почти мелодия.

Артём замер. Все его чувства обострились до предела, как это бывало в моменты смертельной опасности. Зрение, слух, обоняние — всё работало на полную мощность, сканируя окружающее пространство. Он медленно, очень медленно повернул голову, пытаясь определить источник звука.

Звук доносился откуда-то слева, из-за высокого стеклянного гребня, который напоминал застывшую волну цунами. Он был неровным, прерывистым — то затихал почти до нуля, то усиливался, становился пронзительнее. И к нему присоединились другие. Ещё один писк, чуть ниже тоном. Потом третий, четвёртый. Они сплетались в странную, диссонирующую гармонию, от которой почему-то начинали ныть зубы и вибрировать где-то в глубине черепа.

Артём знал этот эффект. Он сталкивался с ним раньше, не здесь — в других местах. Инфразвук. Или ультразвук. Или их комбинация. Что-то такое, что человеческое ухо не воспринимает напрямую, но что воздействует на нервную систему, вызывая тревогу, головную боль, панику. Шептуны. Так их называли сталкеры, которые бывали в этих краях. Мутировавшие грызуны, когда-то — обычные суслики, в изобилии водившиеся в этих степях. Теперь — хищники, охотившиеся стаями и способные парализовать жертву своим криком.

Он не видел их, но знал, что они где-то рядом. И знал, что они уже заметили его. Шептуны были слепы — их глаза атрофировались за ненадобностью в этом сверкающем аду, где солнечный свет, отражённый от стекла, выжигал сетчатку. Но слух их был невероятно острым. Они слышали шаги своей добычи за сотни метров, слышали стук сердца, ток крови по венам. И сейчас они пели — пели свою парализующую песню, которая должна была превратить его в беспомощную, застывшую статую, не способную ни убежать, ни сопротивляться.

Артём не стал ждать, пока песня достигнет полной силы. Он действовал быстро, но без суеты — каждое движение было выверенным, точным, как у хирурга во время операции. Снял рюкзак, положил на стекло. Расстегнул боковой карман, достал то, что искал: моток тонкой стальной проволоки, которую он всегда носил с собой именно для таких случаев, и несколько пустых гильз. Ещё — маленький, плотно запечатанный пакетик с чёрным порошком, который он использовал для переснаряжения патронов.

Писк становился громче. Он уже не был на границе слышимости — он проникал в голову, резонировал в носовых пазухах, заставлял вибрировать барабанные перепонки. Артём чувствовал, как мышцы шеи начинают деревенеть, как замедляется реакция. Шептуны приближались.

Он высыпал порошок на стекло тонкой дорожкой. Закрепил проволоку между двумя гильзами, вбитыми в трещины стекла, как колышки. Натянул так, чтобы она вибрировала при малейшем прикосновении. Достал из кармана маленький кремёнок и огниво. И стал ждать.

Ждать пришлось недолго. Первый шептун показался из-за стеклянного гребня — маленький, не больше кошки, с голой, розовой кожей, просвечивающей так, что были видны внутренние органы. Глаз у него не было — только впадины, затянутые плёнкой. Но пасть... пасть была огромной, непропорционально большой для такого тела, усеянной мелкими, как иглы, зубами. И эта пасть издавала тот самый звук, который парализовал жертву.

За первым последовали другие. Артём насчитал восемь, потом двенадцать, потом сбился. Они выходили из укрытий медленно, неуверенно — они чуяли добычу, но не могли её «уви-

деть» своим ультразвуковым зрением, потому что добыча замерла и превратилась в неподвижный объект. Шептуны ориентировались на движение и тепло. И Артём дал им и то, и другое.

Он чиркнул огнивом. Искра упала на пороховую дорожку. Та вспыхнула мгновенно, с громким шипением и облаком едкого дыма. Вспышка — яркая, как маленькое солнце, — осветила стеклянные волны. И почти сразу же сработала ловушка: проволока, нагретая огнём, завибрировала, ударилась о гильзы, и те зазвенели — пронзительно, громко, на той самой частоте, которую шептуны использовали для охоты.

Эффект превзошёл ожидания.

Восприятие шептунов, настроенное на ультразвук, оказалось их уязвимостью. Усиленный резонансом стекла, звон гильз ударил по ним, как кувалда. Стая взорвалась хаосом. Грызуны заматались, сталкиваясь друг с другом, кусая воздух, теряя ориентацию. Их собственный писк превратился в визг боли и паники. Некоторые пытались бежать, но врезались в стеклянные стены, резали об них свою нежную кожу, оставляя на прозрачной поверхности тёмные, дымящиеся следы.

Артём не стрелял. Он стоял и смотрел, как его враги уничтожают сами себя. Выстрелы здесь, в этой звонкой пустыне, были бы слышны на многие километры. А кто ещё мог услышать их — этого он не знал и проверять не хотел. Поэтому он просто ждал, пока последний шептун, обезумевший, истекающий кровью, не рухнул на стекло и не затих.

Тишина наступила так же внезапно, как начался шум. Только ветер посвистывал в стеклянных лабиринтах да эхо последних звуков медленно умирало где-то вдали. Артём выждал ещё минуту, две. Потом подошёл к ближайшему труп, присел на корточки, рассмотрел. Шептун был омерзителен и одновременно жалок. Создание, рождённое новым миром, — хищник, идеально приспособленный для убийства, но уязвимый перед собственным оружием. Это было в каком-то смысле символично. Или иронично. Он так и не научился различать эти понятия.

Собрав свои вещи — проволоку, гильзы, остатки пороха, — он закинул рюкзак на плечо и продолжил путь. Трупы шептунов он оставил там, где они лежали. Пустыня сама позаботится о них — солнце выжжет, ветер высушит, время превратит в пыль. Всё в этом мире рано или поздно становилось пылью.

Солнце поднялось выше, и пустыня изменилась. Утренние золотистые тона сменились ослепительно-белыми, режущими глаз даже сквозь прищуренные веки. Свет отражался от стекла, преломлялся, создавал мириады бликов, которые плясали в воздухе, как рой светлячков. Артём достал из рюкзака самодельные очки — две полоски тёмного пластика, скреплённые проволокой, — и надел их. Стало немного легче, но всё равно через час-другой такой ходьбы начинала болеть голова.

Он шёл, стараясь держаться теневой стороны высоких гребней, где солнечные лучи не были такими прямыми. Компас в этих местах работал плохо — электромагнитные поля пустыни искажали его показания, стрелка то крутилась как бешеная, то замирала в неестественном положении. Приходилось ориентироваться по карте и по солнцу — грубо, приблизительно, но для опытного сталкера этого было достаточно.

Он думал об обсерватории. О бункере под ней. О том, что там может быть. Документы, о которых говорил Крот, — исследования по очистке от радиации. Если они действительно существуют, если технология работает... Это изменило бы всё. Не для всех — Артём не питал иллюзий насчёт того, что Крот поделится находкой с остальным миром. Но для него самого это могло бы стать спасением. Или хотя бы отсрочкой приговора, который он носил в себе.

А ещё он думал о том, что Крот сказал напоследок: «Там есть что-то ещё». И Михей говорил почти то же самое: «То, что мы там видели, не описать и не забыть». Что они имели в виду? Аномалии? Мутантов? Или что-то иное, чему нет названия в человеческом языке? Скоро он узнает. Эта мысль не пугала его, но и не радовала. Она просто была — как есть всё в его жизни.

К середине дня жара стала невыносимой. Стекло раскалилось так, что через подошвы ботинок чувствовался жар. Воздух дрожал над поверхностью, искажая перспективу, создавая миражи — озёра воды, которые исчезали при приближении, города с башнями и шпилями, висящие в небе вверх ногами. Артём знал, что это обман, но всё равно каждый раз, когда очередной мираж появлялся на горизонте, внутри что-то вздрагивало — остатки инстинктов, доставшихся от далёких предков, которые верили, что видят оазис, и шли к нему навстречу смерти.

Он сделал ещё один привал в тени особенно крупного гребня. Гребень этот был не просто стеклянной волной — внутри него что-то было. Артём подошёл ближе, всмотрелся сквозь мутную, пузырчатую толщу. Сначала не понял, что видит. Потом понял — и похолодел, хотя воздух вокруг был раскалён.

Внутри стекла был человек.

Точнее, то, что от него осталось. Скелет, впечатанный в расплавленный кварц, как муха в янтарь. Кости были целыми, но расположены неестественно — позвоночник изогнут под невозможным углом, рёбра разведены в стороны, словно их разорвало изнутри. Череп запрокинут, нижняя челюсть отсутствовала. Одежды не было — она сгорела в момент катастрофы. Только кости. И рука, вытянутая вверх, с растопыренными пальцами, как будто человек в последний момент пытался выбраться, выплыть из волны жидкого стекла, но не успел.

Артём стоял и смотрел на этот жуткий памятник. Кто был этот человек? Сталкер, как и он сам, пришедший сюда за добычей? Военный, служивший на базе, когда произошла катастрофа? Или просто случайная жертва, оказавшаяся не в том месте не в то время? Узнать было невозможно. Стекло сохранило тело, но стёрло личность, превратило человека в экспонат, в часть пейзажа, в предупреждение тем, кто придёт после.

И они пришли. Артём коснулся стекла ладонью — оно было горячим, почти обжигающим. Он не знал, зачем это делает. Может быть, хотел отдать дань уважения мёртвому. А может быть, хотел запомнить этот образ, зафиксировать в памяти как напоминание: вот что может случиться с тобой, если ты зайдёшь слишком далеко. Только его тело не сохранится в стекле. Его тело просто перестанет существовать — распадётся на атомы, растворится в радиации, которую он так долго в себе носил.

Он оторвал ладонь от стекла и пошёл дальше. Ближе к вечеру он нашёл место для ночлега. Это была расселина между двумя стеклянными гребнями — глубокая, уходящая вниз метров

на пять, с относительно ровным дном. Наверху ветер гулял, завывая в стеклянных лабиринтах, а здесь, внизу, было почти тихо. Только далёкое эхо доносило какие-то звуки — то ли скрип оседающего стекла, то ли голоса ночных тварей, которые выходили на охоту.

Артём развёл маленький, экономный костёр из сухого топлива — таблеток гексамина, которые он носил с собой. Огонь был не столько для тепла — ночи в пустыне, как ни странно, были тёплыми, нагретое за день стекло отдавало тепло до самого рассвета, — сколько для света и для приготовления еды. Он вскрыл банку тушёнки, разогрел её на огне, съел половину. Вторую половину оставил на утро. Аппетита не было — жара и напряжение дня вытеснили чувство голода, но он заставлял себя есть. Телу нужно топливо, даже если разум отказывается это признавать.

После еды он занялся оружием. Разобрал «Глок», протёр, смазал, собрал. Это был ритуал, который он повторял каждый вечер, где бы ни находился, — ритуал, успокаивающий своей монотонностью. Маслянистый запах оружейной смазки, холод стали в руках, щелчки механизма — всё это возвращало его в реальность, заземляло, не давало мыслям уйти слишком далеко.

Потом он достал из нагрудного кармана костяную птицу, которую дала Лина. Положил на ладонь, рассмотрел при свете костра. Птица всё так же рвалась в небо своими неуклюжими, но полными скрытой силы крыльями. Он подумал о девушке, которая ждала брата, и о брате, который, скорее всего, уже никогда не вернётся. Подумал о том, что пообещал ей найти его — хотя обещания не давал. Он вообще избегал обещаний. Обещание — это ответственность, а ответственность — это то, чего он старался не брать на себя. Но птица лежала в кармане, рядом с сердцем, и молча требовала, чтобы он помнил. И он помнил.

Спать он лёг, завернувшись в тонкое термоодеяло, подстелив под голову рюкзак. Сон пришёл не сразу — он долго лежал, глядя в небо, которое здесь, вдали от смога Котлована, было почти чистым. Звёзды проступали сквозь желтоватую дымку — не такие яркие, как в его книге, но настоящие. Он нашёл взглядом Полярную звезду, потом Большую Медведицу, потом Кассиопею — созвездия, которые знал по «Атласу». Они были на тех же местах, что и двадцать лет назад, до Катаклизма. Звёздам было всё равно, что происходит на Земле. Они светили всем — и живым, и мёртвым, и тем, кто был где-то посередине.

Артём закрыл глаза. Гул внутри него стал громче — радиация Стеклой пустыни делала своё дело, насыщала его и без того переполненное тело. Он чувствовал, как что-то меняется внутри, на клеточном уровне. Не боль. Пока не боль. Скорее — предчувствие боли. Как тучи на горизонте предвещают бурю.

Он не знал, сколько ещё протянет. Дни? Недели? Месяцы? Никто не мог сказать — никто не изучал таких, как он, никто не проводил исследований. Он был единственным в своём роде, уникальным экземпляром, и его смерть стала бы концом эксперимента, который никто не начинал. Может быть, именно поэтому он всё ещё был жив. Из чистого любопытства вселенной — посмотреть, как долго может протянуть человек с радиацией в крови.

Утро четвёртого дня началось с находки.

Артём проснулся на рассвете, когда первые лучи солнца заскользили по стеклянным гребням, окрашивая их в розовый и оранжевый. Позавтракал остатками тушёнки, запил водой,

собрал лагерь. И двинулся дальше — теперь уже на северо-восток, где, по его расчётам, должна была находиться обсерватория.

Через два часа пути он наткнулся на следы.

Это были не отпечатки ног в обычном понимании — на стекле не оставалось следов. Это были царапины — глубокие, параллельные, словно кто-то тащил по поверхности что-то тяжёлое. Они вели в обход большого стеклянного гребня и исчезали в узком проходе между двумя волнами. Артём присел, рассмотрел их. Царапины были старые — края оплывшие, сглаженные временем, — но явно искусственного происхождения. Кто-то проходил здесь. Возможно, тот самый Илья, брат Лины. Возможно, кто-то другой. Но шанс был.

Он пошёл по следу. Проход между гребнями становился всё уже и уже, стены смыкались над головой, образуя что-то вроде туннеля. Идти приходилось боком, местами — протискиваться, рискуя порезаться о торчащие осколки. Артём не любил закрытых пространств — не из-за клаустрофобии, а потому что в таких местах он становился уязвим, терял манёвренность. Но любопытство — или чутьё — гнало его вперёд.

Туннель кончился внезапно. Он вышел на открытое пространство — круглую, как амфитеатр, впадину, окружённую со всех сторон высокими стеклянными стенами. И посреди этой впадины стояло оно.

Довоенный вездеход. Военный, судя по остаткам камуфляжной окраски, — шестиколёсный, с бронированными стёклами, которые, впрочем, были выбиты. Он стоял, накренившись на один бок, и вокруг него росли... деревья. Не настоящие — стеклянные. Они поднимались из пола впадины тонкими, изогнутыми стволами, ветвились причудливыми кронами, и на концах ветвей висели капли — застывшие, прозрачные, похожие на плоды. Это было красиво. И страшно. Потому что Артём понял: это не естественное образование. Кто-то или что-то создало этот сад. Но кто? И зачем?

Он медленно приблизился к вездеходу. Дверь была открыта, внутри темно. Он заглянул — пусто. Только рваные ремни безопасности, свисающие с сидений, да приборная панель, покрытая толстым слоем пыли. Никаких тел, никаких останков. Водитель либо ушёл, либо его унесли. Артём обыскал салон — ничего, кроме пустой фляги и коробки с инструментами, которые давно проржавели и ни на что не годились.

Он уже собирался уходить, когда заметил кое-что на стене впадины — в том месте, где стекло было относительно гладким, почти зеркальным. Надпись. Выцарапанная чем-то острым, неровная, но разборчивая: «Не смотри в глаза».

Артём замер. Надпись была свежей — края букв ещё не успели оплавиться, затянута стеклянной плёнкой. Неделя, может, две. Кто-то прошёл здесь совсем недавно и оставил предупреждение. Кому? Случайному путнику? Или самому себе, чтобы не забыть? И что значит «не смотри в глаза»? Чьи глаза? Того, кто создал этот стеклянный сад? Или того, кто водил этот вездеход?

Он не знал ответов. Но теперь он был уверен: он не один в этой пустыне. Кто-то ещё выжил здесь. Или что-то ещё.

Солнце поднялось выше, и свет в стеклянном амфитеатре стал невыносимо ярким, режущим, почти осязаемым. Артём понял, что нужно идти дальше, пока жара не стала совсем невыносимой. Он бросил последний взгляд на вездеход, на стеклянные деревья, на загадочную надпись. И пошёл прочь, чувствуя спиной чей-то взгляд, хотя вокруг не было ни души.

К середине дня он снова сделал привал. На этот раз — у небольшого стеклянного холма, который возвышался над окружающей местностью метров на десять. Холм был не просто нагромождением волн — он имел почти правильную, коническую форму, и на вершине его что-то было. Артём не сразу разглядел, что именно, — солнечный свет, отражённый от стекла, слепил глаза. Но когда он поднялся на холм и подошёл ближе, его сердце пропустило удар.

На вершине стоял человек.

Артём выхватил пистолет, припал на одно колено, готовый стрелять. Но человек не двигался. Он стоял, повернувшись к Артёму спиной, и смотрел куда-то вдаль, на горизонт. Одет он был в обрывки одежды — скорее лохмотья, висевшие на костях, — и стоял неестественно прямо, словно аршин проглотил. Артём окликнул его раз, другой — никакой реакции. Тогда он осторожно приблизился, обогнул фигуру, заглянул в лицо. И остолбенел.

Это был не человек. Это было стекло.

Стеклянная статуя. Человеческая фигура, выплавленная из того же материала, что и вся пустыня, — полупрозрачная, с пузырьками воздуха внутри, смутно напоминающими внутренние органы. Лицо — грубое, словно слепленное наспех, но с деталями: нос, надбровные дуги, провалы глазниц. Руки вытянуты вдоль тела, пальцы сжаты в кулаки. И поза — та самая, напряжённая, застывшая в вечном ожидании.

Артём стоял перед этой статуей и не мог оторвать взгляда. Кто её создал? Тот же, кто вырастил стеклянный сад? Или это природное образование — случайность, игра света и материи? Нет, в это он не верил. Слишком много было деталей, слишком человеческой была поза. Кто-то вылепил этого стеклянного стража. Или жертву. Или свидетеля.

Он протянул руку, коснулся стеклянного плеча. Оно было холодным — странно холодным для раскалённой пустыни. И в этом холоде было что-то такое, от чего захотелось отдернуть пальцы. Артём отдернул. Отступил на шаг. Потом ещё на шаг. А потом развернулся и быстро, насколько позволяла стеклянная поверхность, спустился с холма.

Весь оставшийся день он шёл молча, погружённый в свои мысли. Стеклянный человек стоял у него перед глазами, словно врезанный в память. Что он символизировал? Предупреждение? Угрозу? Или просто был немым свидетелем той катастрофы, которая превратила эту землю в стекло?

К вечеру местность начала меняться. Стеклянные волны становились ниже, реже, между ними проглядывала обычная, хоть и спекшаяся, земля. Пустыня заканчивалась. Впереди, на горизонте, уже виднелись очертания строений — приземистые, угловатые, непохожие на природные образования. Обсерватория. Он почти дошёл.

Артём нашёл место для ночлега на границе пустыни — там, где последние стеклянные волны уступали место каменистой равнине. Развёл костёр, поел, проверил снаряжение. Завтра

он войдёт в обсерваторию. Завтра он узнает, что скрывается под ней. Завтра, возможно, найдёт ответы на свои вопросы — или погибнет. Но сегодня у него была ещё одна ночь. И он провёл её, глядя на звёзды, которые стали ярче, ближе, роднее, чем когда-либо.

И в эту ночь ему впервые за долгое время приснился сон. Ему снилось, что он стоит посреди Стеклойной пустыни, а вокруг — сотни стеклянных людей, неподвижных, безмолвных, смотрящих пустыми глазами в одну точку. И он — один из них. Он пытается пошевелиться, но не может. Пытается крикнуть — но из горла вырывается только звон стекла. И где-то далеко, на границе слышимости, звучит песня шептунов — та самая, парализующая, от которой цепенеют мышцы и замирает сердце.

Он проснулся в холодном поту, с колотящимся сердцем. Дозиметр на запястье трещал, не переставая. Рассвет ещё не наступил, но небо на востоке уже начинало светлеть, окрашиваясь в грязно-жёлтые тона. Артём сел, обхватил колени руками, попытался успокоить дыхание. Сон был просто сном. Галлюцинацией, вызванной излучением и усталостью. Он повторял это снова и снова, пока сердце не забилося ровнее. Но когда он поднялся на ноги и начал собирать лагерь, его взгляд упал на руку — ту самую, которой он касался стеклянной статуи. На кончиках пальцев, там, где кожа соприкасалась со стеклом, была тонкая серебристая плёнка. Словно его собственная плоть начала превращаться в то же вещество, из которого состояла пустыня. Он потёр пальцы — плёнка осыпалась мельчайшей пылью. Артём долго смотрел на свою руку. Потом сжал пальцы в кулак — сильно, до боли, до побелевших костяшек. Боль была настоящей. Плоть была настоящей. Кровь была настоящей. Он всё ещё был человеком. Пока что. Он закинул рюкзак на плечо и зашагал к обсерватории. До неё оставалось не больше трёх километров. И что бы ни ждало его там — ответы, смерть или что-то третье, — он был готов встретить это лицом к лицу.

Глава 3. Бабочка в паутине

Обсерватория вырастала из земли постепенно, как вырастает из тумана айсберг — сначала просто тёмное пятно на горизонте, дрожащее в потоках нагретого воздуха, мираж, которому не стоит доверять, потом неясный силуэт, лишённый деталей, призрачный, зыбкий, и наконец — чёткие, резкие, почти агрессивные в своей реальности очертания рукотворного сооружения, чуждого этой стеклянной, выжженной, мёртвой земле. Чуждого настолько, что оно казалось не результатом человеческого труда, а скорее инородным телом, занесённым сюда ураганом из другого, более осмысленного мира. Оно стояло посреди пустыни, как стоит забытый всеми памятник — не величию человеческого гения, а его самонадеянности, его гордыне, его неумению вовремя остановиться. Обсерватория. Место, где когда-то смотрели на звёзды. Теперь она сама была похожа на упавшую звезду — мёртвую, холодную, вросшую в землю.

Артём шёл к ней уже второй час, и каждый шаг давался тяжелее предыдущего. Не столько из-за физической усталости — хотя и она, конечно, давала о себе знать тупой болью в икрах и ломотой в пояснице, — сколько из-за того необъяснимого, липкого, как паутина, чувства, которое охватывало его по мере приближения к цели. Оно не было страхом. Страх — это острое, горячее, мгновенное чувство, которое вспыхивает и гаснет, как спичка. Это было нечто другое — глубинное, тягучее, всепроникающее ощущение неправильности происходящего. Словно сама пустыня не хотела его отпускать. Словно она узнала его, признала своим и теперь пыталась удержать, заманить обратно в свои стеклянные лабиринты, сделать ещё одним экспонатом своей жуткой коллекции — ещё одним скелетом, впечатанным в кварц, ещё одной статуей, застывшей в вечном ожидании. Пустыня коллекционировала людей. Он видел их — эти стеклянные саркофаги, эти застывшие фигуры с протянутыми руками и разинутыми в беззвучном крике ртами. Когда-то они были живыми. Когда-то у них были имена, семьи, планы. Теперь они были просто частью пейзажа, как камни, как стеклянные волны, как вездесущая пыль, которая хрустела на зубах и забивалась в лёгкие.

Он отогнал эти мысли. Мысли здесь были опасны — опаснее радиации, опаснее мутантов, опаснее людей. В Стеклянной пустыне, где каждый звук искажался до неузнаваемости, многократно отражаясь от стеклянных стен и возвращаясь к источнику неузнаваемым, искаженным эхом, где свет играл с глазами злые шутки, преломляясь в тысячах граней и создавая фантомные образы, которых не существовало в реальности, — в этом царстве оптических и акустических иллюзий рассудок был единственным надёжным компасом. Потеряешь его — потеряешь всё. Сойдёшь с ума — и пустыня примет тебя в свои объятия, бережно, как мать принимает блудного сына. Только вот из этих объятий уже не возвращаются. Он знал людей, которые потеряли себя в Стеклянной пустыне. Одни просто исчезли — ушли и не вернулись, растворились в миражах. Другие вернулись, но лучше бы они этого не делали — вернулись пустыми оболочками, с выжженным разумом, с глазами, которые смотрели в никуда и видели там нечто такое, о чём они не могли или не хотели рассказывать. Эти люди долго не жили. Они угасали — тихо, без жалоб, без криков, просто переставали есть, пить, двигаться и однажды засыпали, чтобы уже не проснуться. Пустыня забирала их себе. Всегда забирала.

Местность вокруг менялась, но медленно, неохотно, словно сама природа не могла решить, хочет ли она возвращаться к чему-то нормальному, знакомому, предсказуемому или предпочитает оставаться в этом стеклянном кошмаре, который стал для неё новой нормой. Стеклянные волны — эти фантастические, застывшие в вечном движении образования, похо-

жие на окаменевшее море, — становились ниже, реже, отступали, как отступает вода во время отлива, обнажая дно. Между ними проглядывала спекшаяся, потрескавшаяся земля — коричневая, с зеленоватыми прожилками какой-то минеральной соли или, может быть, примитивной растительности, цепляющейся за жизнь в этом неприветливом мире. Земля эта была твёрдой, как бетон, и звонкой — каждый шаг отдавался в ней глухим, неестественным звуком, словно под тонкой коркой скрывалась пустота. Кое-где даже появилась растительность — невысокие, чахлые, какие-то извиняющиеся кустики с листьями цвета запёкшейся крови, которые шуршали на ветру сухо и неприятно, словно перебирали бумажные деньги или, может быть, кости мелких животных. У этих кустиков были странные, неестественно длинные корни, которые выходили на поверхность и извивались по земле, как змеи, как вены, как щупальца какого-то подземного чудовища. Артём не знал, что это за растения — он вообще не интересовался ботаникой, и его знания о флоре нового мира сводились к простой, грубой, но жизненно необходимой классификации, которую он выработал сам, методом проб и ошибок, наблюдая за тем, что случалось с теми, кто пробовал на вкус незнакомые растения. Первая категория: «можно есть». Таких растений было мало, но они существовали — в основном это были те виды, которые пережили катастрофу почти без изменений, сохранив свои свойства. Вторая категория: «нельзя есть, но можно использовать» — для лечения, для отпугивания насекомых, для выделки шкур. Третья категория: «убьёт при прикосновении». Вот этих растений было большинство, и они были самыми красивыми — яркими, сочными, манящими. Пустошь любила такие шутки: самое опасное всегда выглядело самым привлекательным. Эти кустики с ржавыми листьями и змеиными корнями выглядели так, будто относились к третьей категории, и Артём обходил их стороной, делая широкий крюк, даже если это удлиняло путь. Лучше потерять десять минут, чем потерять руку или жизнь.

Обсерватория приближалась, и теперь, когда расстояние сократилось до нескольких сотен метров, можно было рассмотреть детали, которые раньше сливались в однородную серую массу. Это был целый комплекс — не просто одно здание, а несколько построек, сгруппированных вокруг главного купола, как цыплята вокруг наседки. Комплекс был обнесён бетонным забором — высоким, метра три, не меньше, с остатками колючей проволоки на гребне. Забор был старым, построенным явно до катастрофы, и время обошлось с ним безжалостно: местами он обрушился полностью, и на его месте зияли провалы, через которые можно было пройти, не замедляя шага; местами стоял, но выглядел так, словно мог рухнуть в любую секунду от малейшего толчка, от порыва ветра, от громкого звука. Бетон пошёл трещинами, глубокими, ветвистыми, как засохшие реки на карте, и в этих трещинах уже поселилась жизнь — какой-то мох, какие-то бледные, лишённые хлорофилла грибы, какие-то мелкие насекомые, снующие туда-сюда по своим неведомым делам. Природа возвращала себе то, что у неё отняли. Медленно, но неотвратимо. Она никуда не торопилась — у неё впереди была вечность.

Главное здание — приземистый цилиндр с куполом на вершине — возвышалось в центре комплекса, как гигантский гриб, выросший из бетона и стали, как футуристический храм, посвящённый какому-то забытому божеству. Купол был расколот. Трещина начиналась от основания купола, там, где он соединялся с цилиндрическим корпусом, и шла вверх, расширяясь и разветвляясь, как молния на замедленной съёмке. Она не была сквозной — не полностью, но в самой широкой части, ближе к вершине, через неё можно было увидеть небо. Или то, что здесь называлось небом — бледно-голубую, выцветшую, как старая джинсовая ткань, полусферу, по которой ветер гнал рваные облака, похожие на грязную вату. Через эту трещину внутрь попадали и дождь, и ветер, и вездесущая радиоактивная пыль, и, вероятно, какие-то летучие твари, которые предпочитали гнездиться в тёмных, защищённых от солнца местах. Артём представил себе внутренность купола — огромный телескоп, который когда-то

смотрел в небо, а теперь смотрит в пустоту, покрытый пылью и птичьим помётом, бесполезный, забытый, никому не нужный. Когда-то здесь работали люди. Они приходили сюда каждый день, пили кофе, обсуждали новости, строили планы на выходные. Они смотрели на звёзды и думали, что вселенная бесконечна и прекрасна. Они не знали, что вселенная смотрит на них в ответ. И в её взгляде нет ничего прекрасного.

Вокруг главного здания теснились вспомогательные постройки — казармы для персонала, склады для оборудования, гаражи для транспорта, трансформаторная будка, котельная, ещё какие-то строения, чьё назначение трудно было определить с первого взгляда. Сейчас от большинства из них остались только остовы, скелеты, обглоданные временем и непогодой, — голые бетонные коробки без крыш, без окон, без дверей, с зияющими пустыми проёмами, через которые свободно гулял ветер. В некоторых сохранились остатки мебели — покореженные металлические столы, проржавевшие шкафы, какие-то трубы и кабели, свисающие с потолка, как внутренности из распоротого живота. Повсюду валялся мусор: битое стекло, обрывки бумаги, какие-то пластиковые детали неизвестного назначения, пустые канистры, стреляные гильзы. Гильзы были старыми, пролежавшими здесь много лет, но всё равно они говорили о том, что здесь когда-то стреляли. Здесь был бой. Может быть, небольшой, локальный — несколько человек обороняли обсерваторию от кого-то или, наоборот, штурмовали её. Сейчас уже не разобрать, кто был прав, кто виноват. Все мертвы. Все споры забыты. Остались только гильзы и кости, которые, вероятно, тоже где-то здесь, просто их занесло пылью и песком.

Но Артёма интересовало не то, что было на поверхности. Его интересовало то, что находилось под землёй. Бункер. Три уровня, как сказал Крот — старый картограф, который знал об этих местах больше, чем кто-либо из ныне живущих. Лаборатория. Секретный исследовательский центр, который занимался чем-то, связанным с очисткой окружающей среды от радиационного заражения. Если она действительно существует — а она существует, Крот никогда не посылал его совсем уж наобум, у старика была репутация, которую он берёт как зеницу ока, — то вход должен быть где-то здесь. Возможно, замаскирован под какое-нибудь неприметное строение — трансформаторную будку, склад, гараж. Возможно, завален обломками — специально или в результате обрушения. Возможно, охраняется — автоматическими системами, которые до сих пор функционируют, питаются от какого-нибудь подземного реактора, или, что хуже, людьми. Люди — самые опасные охранники. Автоматику можно обмануть, отключить, уничтожить. С людьми сложнее — они непредсказуемы, они могут испугаться, могут проявить героизм, могут предать в самый неожиданный момент. Артём надеялся, что охраны нет. Но он был готов и к худшему.

Он остановился, чтобы оценить обстановку. Опыт учил его никогда не лезть на рожон, никогда не действовать *impulsively*, всегда сначала смотреть, анализировать и только потом принимать решение. Он снял с плеча старый, выдавший виды армейский бинокль — тяжёлый, с облупившейся краской, с одной треснувшей линзой, которая давала по левому глазу слегка мутную, искажённую картинку, но всё ещё работающий. Поднёс к глазам, медленно, методично обвёл панораму — слева направо, от дальних подступов до ближних руин. Задержался на каждом подозрительном пятне, на каждой тени, которая могла быть не тенью, а затаявшимся существом. Осмотрел окна, двери, проломы в стенах. Тихо. Слишком тихо. Тишина здесь была особенной — не такой, как в пустыне, где всегда что-то шуршало, звенело, перетекало. Здесь тишина была полной, абсолютной, как в склепе. Никакого движения, кроме ветра, гоняющего мелкую, как пудра, пыль по бетонным плитам. Никаких признаков жизни — ни следов на пыли, ни звуков, ни движения в проёмах окон. И тем не менее...

Что-то было не так. Он не мог сформулировать это словами, не мог выделить конкретный признак, конкретную деталь, которая вызвала это чувство. Но многолетний опыт выживания в пустоши — опыт, оплаченный кровью, болью, потерями, — выработал в нём нечто вроде шестого чувства. Некоторые называли это интуицией, некоторые — чутьём, некоторые — паранойей. Сам Артём называл это просто «зубом» — способностью улавливать опасность раньше, чем её увидят глаза или услышат уши. И сейчас этот «зуб» зудел где-то на затылке, у самого основания черепа, как назойливое насекомое, как тихий, но настойчивый голос, повторяющий одни и те же слова: «Будь осторожен. Здесь что-то не так. Ты это знаешь. Ты это чувствуешь. Не игнорируй. Не будь дураком. Ты уже был дураком однажды, и это стоило тебе слишком дорого».

Он не стал пренебрегать предупреждением. Пренебрежение предупреждениями в пустоши каралось быстро и безжалостно. Снял рюкзак — старый, потрёпанный, с заплатками на заплатках, но ещё крепкий, — оставил его в небольшом углублении под прикрытием массивной бетонной глыбы, которая когда-то была частью ограды, а теперь валялась на земле, расколотая на несколько частей, как яйцо какого-то доисторического ящера. Замаскировал рюкзак обломками, присыпал пылью — на тот случай, если кто-то будет проходить мимо. В пустоши воровство было не самым страшным грехом, но Артём не хотел рисковать снаряжением. С собой взял только самое необходимое: пистолет в кобуре на бедре, запасной магазин в кармане разгрузки, нож в ножнах на поясе и флягу с водой. Всё остальное — еда, спальник, мешок, запасные патроны, аптечка, инструменты — осталось в рюкзаке. Позже, когда разведает обстановку, он вернётся. Если вернётся.

И тут он услышал крик.

Крик прозвучал откуда-то слева, из-за развалин того, что когда-то было, судя по массивным металлическим воротам и остаткам бензоколонки, гаражом или, может быть, ремонтной мастерской. Крик был женским — в этом не было сомнений, мужчины так не кричат. Он был высоким, пронзительным, полным такого неподдельного, такого животного ужаса, что Артём вздрогнул всем телом, хотя за свою жизнь слышал крики много раз — столько, что, казалось бы, должен был привыкнуть. Крики боли — когда человеку отрывает конечность или вспарывает живот. Крики страха — когда человек видит нечто такое, чего не должен видеть. Крики отчаяния — когда человек понимает, что помощи не будет. Крики ярости — когда человек бросается в последний, безнадёжный бой. Но этот крик был особенным. В нём было всё сразу — и боль, и страх, и отчаяние, и ярость. Но прежде всего в нём звучало сопротивление. Тот, кто кричал, ещё не сдался. Ещё боролся. Ещё верил, что может выжить — или, по крайней мере, умереть не сейчас, не здесь, не так.

Он побежал. Решение пришло мгновенно — даже не решение, а импульс, который сработал раньше, чем разум успел взвесить все «за» и «против». Бежать по пересечённой местности, усыпанной обломками бетона, острыми осколками стекла, кусками арматуры, которая торчала из руин, как кости из разлагающегося трупа, было нелегко. Одно неверное движение — и можно было распороть ногу, подвернуть лодыжку, упасть и наколоться на что-нибудь острое. Но Артём бежал — быстро, почти бесшумно, удивительно ловко для человека его комплекции и с его грузом на душе. Годы тренировок, годы постоянного балансирования на грани жизни и смерти, годы, проведённые в бесконечных странствиях по пустоши, сделали его тело послушным инструментом, который действовал раньше, чем разум успевал отдать приказ. Тело знало, как уклоняться от препятствий, как перепрыгивать через обломки, как приземляться на полусогнутые ноги, чтобы погасить инерцию. Разум в такие моменты отключался, уходил на второй

план, становился просто наблюдателем, который с удивлением и некоторой отстранённостью следил за тем, что вытворяет его физическая оболочка. Это было странное, почти шизофреническое ощущение — быть одновременно и актёром, и зрителем.

Он обогнул гараж — массивное, приземистое строение с провалившейся крышей, — перемахнул через поваленный забор, приземлился на обе ноги, чуть не поскользнулся на осыпи из мелкого стеклянного крошева, но удержал равновесие, взмахнув руками. Нырнул в пролом в стене какого-то склада — тёмного, пахнувшего плесенью и чем-то кислым, похожим на старую кровь. Пробежал сквозь склад, ориентируясь по полосам света, проникавшим через дыры в крыше. Выскочил с другой стороны — и замер, мгновенно остановившись, вжавшись в стену, слившись с тенью. Потребовалось несколько секунд, чтобы оценить ситуацию. Опыт учил: не бросайся в бой сломя голову. Сначала пойми, что происходит. Сначала увидь врага. Сначала посчитай силы. И только потом действуй.

Картина, открывшаяся ему, была достойна кисти художника-апокалиптика — одного из тех безумных гениев, которые после катастрофы рисовали свои кошмарные видения на всём, что попадалось под руку: на стенах разрушенных домов, на обгоревших досках, на собственной коже. На небольшой площадке перед складом, усыпанной обломками, мусором и битым стеклом, которое сверкало под лучами послеполуденного солнца, как рассыпанные бриллианты, лежала перевернутая повозка. Это была не та убогая самодельная телега, которую использовали крестьяне Котлована — шаткая, скрипучая, собранная из чего попало. Нет, это было нечто более основательное, почти фургон — с прочным металлическим каркасом, с колёсами на рессорах, с остатками краски на бортах. Каркас был обтянут плотной тканью, пропитанной смолой для водонепроницаемости, — такие повозки делали в Южных землях, где ещё сохранилось какое-то подобие ремесленного производства. Ткань была порвана в нескольких местах, каркас погнут, одно колесо отлетело и валялось поодаль, уткнувшись спицами в небо, как сложенный зонтик. Содержимое фургона — какие-то тюки, ящики, мешки, бочки — было рассыпано по земле, как внутренности из вспоротого живота. Рядом с повозкой валялся труп лошади — крупной, упитанной, со светлой, почти белой шерстью. Животное было мертво уже несколько часов: брюхо распорото, внутренности вывалились наружу, над ними уже роились крупные, с металлическим отливом мухи. Глаза лошади остекленели и смотрели в небо с тем выражением бессмысленного удивления, которое бывает только у мёртвых животных. Вокруг трупа кружили какие-то птицы — тощие, облезлые, с голыми красными шеями и длинными, загнутыми клювами, похожие на стервятников, но крупнее и, судя по агрессивным повадкам, способные не только падалью питаться. Они каркали, хлопали крыльями, дрались между собой за лучшие куски, и это карканье было единственным звуком, нарушавшим тишину.

Но не это привлекло внимание Артёма. Не перевернутая повозка, не рассыпанные товары, не труп лошади, не птицы-падальщики. Его взгляд остановился на девушке.

Она висела в паутине.

Это была не та паутина, которую плетут обычные пауки — тонкая, ажурная, почти невесомая, серебриющаяся в лучах утреннего солнца. Обычные пауки давно вымерли или мутировали во что-то другое, гораздо более опасное. Эта паутина была сделана из колючей проволоки — старой, ржавой, той самой, которой когда-то были обнесены военные объекты, тюрьмы, секретные лаборатории. Кто-то натянул её здесь — не природа, не случайность, а именно кто-то, разумный или безумный, — создав смертельную ловушку, которая ждала своего часа. Проволока была натянута между бетонной стеной склада и остовом сгоревшего грузовика, который

стоял здесь, вероятно, с самой катастрофы, — ржавого, с выбитыми стёклами, с прогоревшими шинами, похожего на скелет какого-то доисторического чудовища. Проволочные нити пересекались, переплетались, образовывали сложную трёхмерную сеть — не хаотичную, а на удивление продуманную, почти геометрически правильную. Тот, кто её создал, знал своё дело. Он был охотником. Или садистом. Или и тем, и другим одновременно.

Девушка угодила в эту ловушку — она запуталась в проволочных петлях, как муха в сетях паука. Ржавые шипы впились в её одежду, в кожу, удерживая её в неестественной, изломанной позе — одна рука вывернута вверх, другая прижата к телу, ноги расставлены, голова запрокинута. На руках и ногах, на шее, даже на лице виднелись глубокие царапины, из которых сочилась кровь — тёмная, почти чёрная в этом освещении. Кровь капала на землю, и там, куда она падала, пыль сворачивалась в маленькие тёмные шарики. Она пыталась освободиться — это было видно по её позе, по напряжённым, дрожащим от усилия мышцам, по тому, как она дёргалась, пытаясь разорвать проволочные путы. Но каждое движение только сильнее затягивало проволоку, впивало шипы глубже в плоть, причиняло новую боль. Это была классическая ловушка — чем больше жертва борется, тем крепче её держат путы. И она это понимала. Но ничего не могла с собой поделать — инстинкт самосохранения требовал бороться, даже если борьба бессмысленна.

Ей было лет двадцать, может, чуть больше. Молодая, но уже не девочка — в чертах лица чувствовалась какая-то зрелость, какая-то преждевременная взрослость, которая появляется у людей, рано столкнувшихся с жестокостью мира. Тёмные волосы, длинные, густые, сейчас растрёпанные и слипшиеся от крови и пота, обрамляли лицо, которое могло бы быть красивым — правильные черты, высокие скулы, чётко очерченные брови, — если бы не гримаса боли и ужаса, искажавшая его черты, делавшая его почти неузнаваемым. Глаза её были широко раскрыты — светло-карие, почти жёлтые, как у кошки, — и в них стояли слёзы, которые она отказывалась проливать. Одетая она была в дорожный костюм, типичный для караванщиков из южных земель: кожаные штаны, усиленные наколенниками, куртка с множеством карманов, высокие ботинки на шнуровке. Одежда была добротной, хорошо сшитой, из качественных материалов — видно, что она не из бедных. На поясе висел пустой чехол от ножа — нож она, вероятно, потеряла в схватке или выронила, когда попала в ловушку. Торговка. Судя по рассыпанным товарам — караванщица, причём не рядовая, а кто-то из семьи владельца каравана. И судя по тому, что она была здесь одна, а остальные члены каравана, о которых она упоминала вскользь, мертвы, — единственная выжившая. Пока единственная выжившая.

И теперь, когда крик стих, когда эхо его замерло в развалинах, растворилось в бетонных лабиринтах, наступила тишина. Но не пустая. Не та абсолютная, безжизненная тишина, которая царила здесь несколько минут назад. В этой тишине слышалось другое — низкое, гортанное, вибрирующее рычание, которое Артём узнал сразу, мгновенно, безошибочно, потому что слышал его много раз. Слишком много раз. Псы. Мутировавшие псы, потомки тех, что когда-то были домашними любимцами, сторожевыми собаками, охотничьими компаньонами. Теперь — дикие, безжалостные, невероятно живучие твари, которые охотились стаями и не боялись ни людей, ни других мутантов. Они ещё не появились — они кружили где-то за развалинами, в лабиринте руин и обломков, ожидая подходящего момента. Ждали, пока жертва выбьется из сил окончательно, перестанет дёргаться и представлять хоть какую-то опасность. Это была их обычная тактика — изматывать, ждать, внушать ужас одним своим присутствием, а потом нападать, когда жертва уже не способна сопротивляться. Они были умны — гораздо умнее своих довоенных предков. Мутация подарила им не только уродливую внешность и физиче-

скую силу, но и какой-то извращённый, хищный интеллект, способный на примитивное планирование.

Артём оценивал ситуацию быстро, холодно, отстранённо — как всегда в минуты опасности. Эмоции ушли, спрятались где-то глубоко внутри, уступив место холодному, расчётливому анализу. Это была его суперспособность — не физическая сила, не меткость в стрельбе, не выносливость, а способность отключать чувства и превращаться в вычислительную машину, которая просчитывает вероятности, оценивает риски, выбирает оптимальную стратегию. Псов было минимум трое — он слышал их по рычанию, доносящемуся с разных сторон, по звуку шагов, по шороху когтей по бетону. Трое — это минимум. Может быть, четверо. Может быть, пятеро. Стая могла быть больше — часть её могла затаиться, выжидая. Девушка была беспомощна — она висела в проволоке, как в капкане, неспособная ни убежать, ни защищаться. Если он вступит в бой, то обнаружит себя — выстрелы здесь, в этой акустической коробке из бетонных стен и стеклянных осколков, будут слышны на много километров вокруг. Всё, что скрывается в пустыне и вокруг обсерватории — а скрывалось там, судя по всему, немало, — узнает о его присутствии. Это было неразумно. Это было опасно. Это противоречило всем правилам выживания, которые он выработал за годы странствий — правилам, которые не раз спасали ему жизнь. Правило номер один: не вмешивайся. Правило номер два: не привлекай внимания. Правило номер три: если нарушил первые два правила — беги.

Он всё равно пошёл вперёд.

Почему? Он не задавал себе этого вопроса. Не сейчас. Сейчас было не время для рефлексии, для самокопания, для попыток разобраться в собственной душе. Может быть, потому, что крик этой девушки — не мольба о помощи, а яростный, злой, сопротивляющийся — напомнил ему о чём-то важном, что он давно похоронил в себе, засыпал песком, как пустыня засыпает мёртвые города. О способности бороться до конца, даже когда конец неизбежен. О способности кричать, когда все вокруг молчат, опустив головы и сделав вид, что ничего не происходит. О способности быть человеком — не просто выживающим организмом, который ест, пьёт и ищет укрытие, а человеком, который способен на поступок, на жертву, на глупость, в конце концов. А может быть, потому, что ему надоело быть тенью — бесплотной, безучастной, просто проходящей мимо. Может быть, ему захотелось хоть раз в жизни сделать что-то не потому, что это выгодно, прагматично, рационально, а потому, что это правильно. Просто правильно — не в смысле какой-то высшей морали, а в смысле какого-то глубинного, инстинктивного понимания того, как должен поступать человек, когда видит другого человека в беде. Он не анализировал. Не взвешивал. Не колебался. Он действовал.

Он вышел из укрытия — не крадучись, не прячась, не пытаясь слиться с тенями и незаметно подобраться поближе. Он вышел открыто, во весь рост, расправив плечи, подняв голову. И впервые за долгое время — за месяцы, может быть, за годы — издал звук. Не выстрел. Не команду. Не предупреждение. Это был свист. Резкий, пронзительный, двухпальцевый свист, которому его научил отец ещё в детстве, в той прошлой, полузабытой жизни, которая теперь казалась чужой, неправдоподобной, как сон. Отец придерживал губу двумя пальцами и дул особым образом, и получался звук такой силы и чистоты, что, казалось, его слышали на другом конце посёлка. Артём долго не мог освоить эту технику — пробовал, срывал голос, плевался, злился, — но потом, в один прекрасный день, у него вдруг получилось, и с тех пор он помнил это умение, пронёс его через все катастрофы и потери. Свист разорвал тишину, пронёсся над площадкой, отразился от бетонных стен, умножился эхом, которое долго металось среди развалин, и унёсся в пустыню — далеко-далеко, туда, где стеклянные волны мерцали в лучах

заходящего солнца. И он достиг своей цели — рычание стихло. Псы замерли, прервали своё кружение, оценивая новый, неожиданный фактор. В их крошечных, изуродованных мутацией мозгах происходила быстрая переоценка ситуации: только что была одна жертва — беспомощная, обессиленная, лёгкая добыча. Теперь появилась вторая — и эта вторая вела себя странно, неправильно, не как жертва.

Девушка тоже замерла. Она перестала дёргаться, перестала пытаться освободиться — каждое движение причиняло ей боль, и она использовала передышку, чтобы перевести дыхание. Она повернула голову — медленно, с огромным трудом, потому что проволока держала её мёртвой хваткой, впивалась в шею, не давала двигаться свободно, — и увидела Артёма. Её глаза — светло-карие, с золотистыми искрами, — расширились. Расширились так, что, казалось, заняли половину лица. В них читалось всё сразу, как в открытой книге: страх — глубокий, животный, инстинктивный; надежда — робкая, неуверенная, готовая угаснуть в любую секунду; недоверие — она не могла верить, что помощь пришла, что кто-то появился здесь, в этом богом забытом месте; шок — человек, которого она увидела, был не похож на обычного спасителя. Высокий, измождённый, в выцветшей, покрытой пылью и заплатками одежде, с лицом, которое казалось старше своих лет — морщины у глаз, глубокие складки у рта, шрамы на подбородке, — он больше походил на призрак, на дух пустоши, на одно из тех видений, которые являются путникам перед смертью. Но в его руке был пистолет — самый что ни на есть реальный, материальный, тяжёлый, — и он держал его так, как держат продолжение собственного тела, как держат инструмент, с которым сроднились настолько, что забыли о его существовании. Она явно не ожидала увидеть здесь человека. Тем более такого человека.

Артём поднял левую руку — медленно, плавно, без резких движений, — и сделал жест, который должен был означать: «Не двигайся. Молчи. Жди». Это был универсальный жест, понятный в любом уголке пустоши, на любом диалекте, в любой культуре. Она поняла. Или просто не могла ничего сказать — от боли, от потрясения, от запёкшейся в горле крови, от пересохших губ, которые она попыталась облизать и которые только сильнее затрескались от этого движения.

Первый пёс вышел из-за остова грузовика. Это был крупный самец — размером с телёнка, может, даже с небольшого бычка. Его тело было покрыто бугристой, лишённой шерсти кожей — не гладкой, как у земноводного, а грубой, шершавой, похожей на слоновью, но более тонкой. Сквозь эту кожу просвечивали вены — толстые, извилистые, пульсирующие, — и какие-то тёмные наросты, похожие на опухоли или на гроздьё каких-то паразитических организмов. Глаза его были разными: один — мутный, бельмастый, полностью лишённый зрения; второй — жёлтый, яркий, с вертикальным, как у змеи, зрачком, который смотрел на Артёма с холодной, расчётливой злобой. Не с яростью голодного зверя, а именно со злобой — осмысленной, почти человеческой. Он был вожаком — это чувствовалось во всём: в том, как он двигался — медленно, важно, не суетясь, в том, как он держал голову — высоко, с достоинством, в том, как он оценивал противника — внимательно, методично, словно просчитывал шансы. Пасть его была приоткрыта, обнажая зубы — не обычные собачьи клыки, а целый частокол из игольчатых, слегка загнутых назад зубов, созданных для того, чтобы впиваться в плоть и не отпускать. Из пасти свисала нитка густой, тягучей, желтоватой слюны, которая медленно капала на землю, и там, куда она попадала, пыль шипела и сворачивалась. За вожаком, держась в тени, следовали ещё двое — поменьше размерами, но такие же уродливые, такие же мутировавшие, с неестественно длинными, словно вывернутыми в суставах лапами, которые делали их похожими на гигантских пауков или на каких-то доисторических рептилий.

Артём не стал ждать, пока стая окружит его. Он слишком хорошо знал тактику псов — они всегда нападают с разных сторон, один отвлекает внимание спереди, делает ложные выпады, рычит, скалится, а двое других в это время заходят с флангов и с тыла, подбираются бесшумно, прижимаясь к земле, сливаясь с тенями. Это была примитивная, но эффективная стратегия, выработанная поколениями стайных хищников. Сейчас у них было численное преимущество — трое против одного. Но у Артёма было преимущество внезапности и точного оружия. Он решил использовать его, не откладывая.

Он выстрелил.

Первый выстрел прозвучал в тишине как удар грома, как взрыв, как обрушение бетонной стены. Эхо заметалось между бетонными стенами, отразилось от купола обсерватории, вернулось обратно, умножая звук, делая его оглушительным. Казалось, сам воздух содрогнулся от этого звука, и этот содрогание передалось земле, камням, руинам. Птицы-падальщики с карканьем взмыли в воздух, закружились над площадкой чёрным, встревоженным облаком. Где-то вдалеке, в пустыне, отозвалось эхо — приглушённое, искажённое расстоянием, но всё равно слышимое. Теперь о его присутствии знали все, кто находился в радиусе нескольких километров. Но это уже не имело значения. Пуля вошла жожаку точно в лоб — чуть выше переносицы, там, где кости черепа сходятся под углом и где защита наиболее тонкая. Он специально целил в эту точку — опыт учил, что стрелять в грудь или в шею таким тварям бесполезно, у них слишком толстая шкура и слишком живучий организм. Голова пса дёрнулась назад, из затылка выплеснулся фонтан тёмной, почти чёрной, густой, как смола, крови, смешанной с какими-то тёмными сгустками, похожими на куски внутренностей. Жожак рухнул на землю, даже не взвизгнув, — просто подломились лапы, и огромное тело осело, как мешок с костями. Он был мёртв ещё до того, как коснулся земли.

Второй пёс, не успев осознать смерть жожака, не успев перестроиться, не успев испугаться, рванулся вперёд — инстинктивно, как его учили, как он делал сотни раз на охоте. Он был моложе, менее опытен, его мозг ещё не научился быстро переключаться между программами «атака» и «отступление». Артём встретил его вторым выстрелом. Пуля попала в грудь, чуть правее, чем он целился — сказалась спешка, — но этого хватило. Грудная клетка мутанта была не такой прочной, как у жожака, и пуля пробила её насквозь, задев что-то жизненно важное внутри. Пёс покатился кубарем, взвизгнул — высоко, пронзительно, почти по-щенячьи, — задёргал лапами в агонии и затих. Из раны на груди толчками выходила кровь, растекаясь по пыли тёмной лужей.

Третий, самый молодой — почти щенок, если это слово вообще применимо к таким тварям, — замешкался. Он видел, как погибли его сородичи. Видел, как легко и быстро этот двуногий убил их — тех, кого он считал непобедимыми, тех, кто всегда возвращался с охоты с добычей. В его крошечном, изуродованном мутацией мозгу происходила борьба между голодом и страхом — двумя базовыми инстинктами, которые определяли всё существование этих созданий. Голод требовал атаковать — добыча была здесь, рядом, беспомощная, истекающая кровью. Страх требовал бежать — потому что двуногий был опасен, смертельно опасен, и его палка-гром убивала на расстоянии. Эта внутренняя борьба отражалась на морде пса — он скалился, прижимал уши, поджимал хвост, перебирал лапами, не в силах принять решение. Артём мог бы пристрелить и его — это было бы проще всего. Но он не стал. Что-то остановило его — может быть, жалость, это запретное, опасное чувство, которое он считал давно похороненным в себе. А может быть, прагматизм: выстрел — это звук, а звук привлекает внимание.

Четыре выстрела — это уже настоящий бой. Два выстрела — случайность. Он решил попробовать другой метод.

Вместо того чтобы стрелять, он шагнул вперёд и издал ещё один свист — низкий, горловой, вибрирующий, совершенно не похожий на первый. Этот свист был другим — не резким и пронзительным, а глубоким, утробным, почти неслышимым человеческим ухом, но прекрасно различимым для звериного слуха. Это был звук, который он слышал однажды, много лет назад, от старого сталкера по прозвищу Дед — седого, полуслепого, но невероятно живучего старика, который провёл в пустоши больше времени, чем кто-либо другой. Дед умел разговаривать с мутантами — не в том смысле, что понимал их язык, а в том смысле, что умел издавать звуки, которые они воспринимали как сигналы опасности. Он утверждал, что этот конкретный свист имитирует рычание более крупного хищника — может быть, медведя-мутанта, может быть, чего-то пострашнее, что водилось в глубинах пустоши и о чём предпочитали не говорить вслух. Артём тогда не поверил — он вообще мало чему верил, — но звук запомнил, впитал, как губка впитывает воду, и теперь, годы спустя, воспроизвёл его с пугающей точностью. Пёс отреагировал мгновенно: его глаза расширились, уши прижались к голове ещё плотнее, хвост буквально вжался между задних лап. Он попятился, сделал несколько неуверенных шагов назад, потом ещё несколько, потом развернулся и бросился бежать — быстро, панически, спотыкаясь о камни, — и скрылся за развалинами. Звук его когтей по бетону постепенно затих вдали.

Тишина наступила так же внезапно, как и разорвалась. Только что воздух звенел от выстрелов, рычания, визга, карканья птиц — и вот уже ничего, только ветер шуршит пылью, только кровь капает с проволоки на землю, только где-то далеко, на самой границе слышимости, затихает эхо последнего выстрела. Контраст был настолько резким, что казался почти физическим — как будто кто-то выключил звук. Артём опустил пистолет — но не убрал в кобуру, держал наготове, стволом вниз, палец на спусковой скобе. Медленно, не делая резких движений, повернулся к девушке. Она смотрела на него. И в её глазах — этих светло-карих, кошачьих глазах — теперь читалось не только облегчение. Там появилось что-то ещё — тот особенный, суеверный, почти религиозный страх, который он так часто видел в глазах людей, когда они понимали, с кем имеют дело. Кто он? Что он? Как он смог один, без страха, без колебаний, без единого лишнего движения расправиться с целой стаей? Человек ли он вообще — или нечто иное, принявшее человеческий облик? Она не задавала эти вопросы вслух — может быть, боялась ответа, — но они были написаны на её лице так же ясно, как надпись на стеклянной стене амфитеатра: «Не смотри в глаза».

Артём подошёл к проволочной ловушке. Шаг, другой, третий — он двигался осторожно, глядя под ноги, чтобы самому не попасть в какую-нибудь замаскированную петлю. Убрал пистолет в кобуру — теперь, когда непосредственная опасность миновала, оружие было не нужно. Достал нож — тот самый, с широким лезвием, заточенным до бритвенной остроты, с удобной, обмотанной кожей рукоятью. Проволока была старой, ржавой, но всё ещё невероятно прочной — такой проволокой когда-то укрепляли бетон, из неё делали заграждения, которые должны были выдерживать взрывную волну. Резать её обычным лезвием было тяжело — нож скользил, ржавчина крошилась, сталь звенела от напряжения. Но Артём работал молча, методично, терпеливо — перерезал одну нить за другой, выбирая те, что держали девушку сильнее всего, стараясь не задеть её саму. Это была ювелирная работа — одно неверное движение, и нож мог соскользнуть и поранить её ещё сильнее. Она тихо вскрикивала каждый раз, когда натянутая до предела проволока освобождалась и шипы выходили из ран, оставляя после себя новые капельки крови. Это было больно — адски больно, — но она терпела. Не плакала, не жаловалась, не умоляла его остановиться. Только кусала губы до крови и сжимала кулаки так,

что побелели костяшки. В целом держалась хорошо — гораздо лучше, чем многие мужчины на её месте.

Когда последняя нить была перерезана и её тело наконец освободилось от страшных объятий проволочной паутины, она пошатнулась. Ноги, долгое время находившиеся в неестественном положении, онемели и отказывались держать. Она бы упала — прямо лицом в пыль, в осколки стекла, в грязь, — если бы Артём не подхватил её. Он сделал это автоматически, не думая — просто протянул руки и поймал её, как ловят падающий предмет. Она была лёгкой — удивительно лёгкой, почти невесомой, как птица. Он опустил её на землю, осторожно, стараясь не причинить дополнительной боли, и прислонил спиной к перевёрнутой повозке — так, чтобы она могла сидеть, не напрягая раненные ноги. Достал из кармана флягу с водой — ту самую, что наполнял утром из колодца Михея, — отвинтил крышку и протянул ей. Она взяла флягу дрожащими, непослушными руками, которые всё ещё не отошли от напряжения, поднесла к губам и сделала несколько жадных глотков. Вода потекла по подбородку, смешиваясь с кровью и пылью, оставляя на коже грязные разводы. Она закашлялась — поперхнулась, слишком торопилась, — но быстро справилась с собой. Потом подняла на него глаза — те самые, светлогарие, с золотистыми искрами, — и в них, помимо боли и страха, появилось что-то новое.

— Спасибо, — прошептала она. Голос её был хриплым, сорванным от крика, едва слышимым, как шелест сухих листьев. Но в нём звучало такое искреннее, такое неподдельное, такое всепоглощающее чувство благодарности, что Артём на мгновение отвёл взгляд. Он не привык к благодарности. Не знал, что с ней делать, как на неё реагировать. Благодарность — это социальная валюта, а он давно вышел из социума. Он привык к враждебности, к страху, к отращиванию, к равнодушию. Но благодарность... это было что-то новое. Или хорошо забытое старое. Он стоял, глядя в сторону, на трупы псов, на птиц, которые снова начали слетаться к падали, на далёкий купол обсерватории, и ждал.

— Ты кто? — спросила она, возвращая флягу. Её голос уже окреп, приобрёл нормальную громкость, хотя всё ещё был хриловатым. — Ты не из этих мест. Я бы знала. Я всех знаю, кто ходит через пустыню. Торговцев, сталкеров, мародёров. Ты... другой.

Он не ответил. Вместо этого он встал, размял затёкшие от напряжения плечи, подошёл к трупу вожака. Огромная, уродливая туша уже начала привлекать насекомых — каких-то жуков с блестящими панцирями, выползающих из трещин в бетоне. Артём присел на корточки, вытащил из-за пояса нож и принялся срезать с мёртвого пса клыки. Это была грязная, неприятная работа — тёмная кровь пачкала руки, воняла чем-то кислым и металлическим одновременно, — но он делал её спокойно, методично, как делал всё в своей жизни. Клыки мутировавших псов ценились — из них делали амулеты, наконечники для стрел, иглы для примитивной хирургии, да и просто продавали как сувениры наивным караванщикам, верящим в их магические свойства. Всё пригодится в этом мире. Ничего нельзя выбрасывать.

— Ты немой? — спросила она с ноткой разочарования в голосе. — Или просто не хочешь говорить?

Артём закончил с клыками — четыре штуки, длинных, слегка изогнутых, с желобками для яда, — спрятал их в карман разгрузки. Потом подошёл к рассыпанным товарам, окинул их оценивающим взглядом. Тюки с тканью — добротной, плотной, явно ручной работы. Ящики с патронами — калибр семь-шестьдесят два, советский стандарт, самый ходовой в пустоши. Мешки с какой-то крупой — возможно, гречка или перловка, из тех запасов, что ещё сохра-

нились на военных складах. Всё это стоило денег — и немалых. Девушка, судя по её цепкому взгляду, которым она следила за каждым его движением, была не прочь это защищать. Но сейчас ей нужна была помощь другого рода. Более базовая, более насущная.

Он достал из своего рюкзака — того самого, что оставил под бетонной глыбой, и за которым пришлось сходить, — бинты, антисептик, вату, пластырь. Спирт Михея пришёлся как нельзя кстати — крепкий, почти чистый, он жёг, как огонь, но дезинфицировал лучше любого довоенного антисептика. Артём положил всё это перед девушкой, разложил аккуратно, как в полевом госпитале, и показал жестом: обработай раны. Она кивнула — благодарно, понимающе, — и принялась неумело, но старательно перевязывать самые глубокие порезы. Руки её дрожали, бинт ложился неровно, но она не просила помощи — гордость не позволяла или, может быть, недоверие. Артём отошёл на несколько шагов, давая ей пространство, чувство приватности, но оставаясь наготове — на случай, если вернутся псы или появятся другие твари, привлечённые запахом крови. Запах крови в пустоши — это как сигнальный костёр: он виден издали и привлекает всех, кто голоден.

— Меня Лира зовут, — сказала она, не прекращая перевязку. Голос её звучал уже ровнее, спокойнее — то ли оттого, что непосредственная опасность миновала, то ли оттого, что процесс перевязки отвлекал от боли. — Из Южного каравана. Может, слышал? Караван Савина. Мой отец — он был главой каравана. Мы шли в Котлован с грузом тканей и патронов. Должны были обменять на воду и консервы. Но сбились с пути. Эта проклятая пустыня... она как живая. Карты не работают. Компасы тоже — стрелка крутится, как бешеная, не останавливается ни на секунду. Мы кружили три дня, пытались выйти по солнцу, по звёздам — ничего не помогало. А потом напали эти твари. — Она замолчала, перевела дыхание, и было видно, каких усилий ей стоит сдерживать слёзы. Слёзы всё-таки потекли — не ручьём, а так, тоненькой струйкой, оставляя на грязных щеках две светлые дорожки. Она быстро смахнула их тыльной стороной ладони, размазав грязь ещё сильнее. — Мой отец... он был со мной. И дядя Рут — папин брат. И ещё трое — охранники, хорошие парни, я их с детства знала. Они все... они там, за повозкой. Я не могла их защитить. Я вообще ничего не могла. Я спряталась под фургон, как крыса, пока они... пока они умирали.

Артём слушал молча. Он не утешал её — не умел. Он разучился утешать где-то в первые годы после катастрофы, когда утешения стали бессмысленными, когда слова сочувствия ничего не могли изменить. Но и не уходил. Просто стоял, прислонившись спиной к бетонной стене — холодной, шершавой, надёжной, — и смотрел вдаль, туда, где на горизонте всё ещё мерцало зеленоватое свечение пустыни. Это свечение было красивым — жуткой, нечеловеческой красотой, как северное сияние, опустившееся на мёртвую землю. Но он знал, что за этой красотой скрывается смерть. Медленная, невидимая, неотвратимая.

— Ты ведь не просто так здесь, — продолжала Лира. Она закончила перевязку, затянула последний узел и попыталась встать. Ноги всё ещё дрожали, колени подгибались, но она удержалась на ногах, ухватившись за борт перевёрнутой повозки. Её фигура на фоне закатного неба казалась хрупкой и какой-то обречённой. — Никто не ходит в Стекланную пустыню просто так. Даже мародёры сюда не суются — слишком опасно, слишком мало добычи. Ты идёшь к обсерватории? Зачем? Там ничего нет. Одни развалины. Я знаю — мы проходили мимо неё в прошлом году, хотели устроить там лагерь. Но передумали. Там... нехорошо. Не знаю, как объяснить. Просто нехорошо.

Артём повернулся к ней. Их глаза встретились, и в этот момент произошло что-то странное — какая-то невербальная коммуникация, какой-то обмен информацией на уровне, недоступном словам. Он вдруг понял, что должен сказать хоть что-то. Не из вежливости — он давно забыл, что такое вежливость. Не из сочувствия — он не был уверен, что ещё способен на это чувство. А потому что эта девушка, эта израненная, испуганная, но не сломленная караванщица, была первой за долгое, очень долгое время, кто посмотрел на него не как на изгоя, не как на ходячий реактор, не как на чудовище, притворяющееся человеком. Она посмотрела на него как на человека. Пусть и странного. Пусть и пугающего. Пусть и непонятного. Но человека. И это было... неожиданно.

— Ищу кое-что, — сказал он. Его голос, как всегда, прозвучал глухо, хрипло, непривычно даже для него самого — так звучит инструмент, на котором давно не играли. Слова выходили с трудом, словно каждое из них нужно было выталкивать из горла.

Лира вздрогнула — очевидно, она уже решила, что он немой, и теперь её теория рассыпалась в прах.

— Что? — переспросила она, подавшись вперёд. — Что ты ищешь?

— Под обсерваторией есть бункер, — сказал Артём. — Лаборатория. Там могут быть документы.

— Какие документы? — Её брови сошлись на переносице. Она не понимала — и это было естественно, потому что нормальному человеку трудно понять, ради чего можно идти в самое сердце Стеклойной пустыни.

— Про очистку от радиации, — сказал Артём.

Она замолчала. В тишине было слышно только, как ветер шелестит ржавыми листьями странных кустов и как где-то вдалеке перекликаются птицы-падальщики, дерущиеся над трупами псов. Потом она горько усмехнулась — не над ним, нет, над ситуацией, над миром, над жизнью, которая довела человека до такого состояния.

— Очистка от радиации, — повторила она медленно, пробуя слова на вкус, как пробуют незнакомую пищу. — Значит, вот зачем ты сюда пришёл. Хочешь спасти мир? Как в старых сказках? Рыцарь в сияющих доспехах, который найдёт волшебный артефакт и избавит королевство от проклятия?

— Себя, — сказал Артём. Это было честно. Слишком честно, может быть. Слишком откровенно. Но врать этой девушке он не хотел. Она не заслуживала лжи. Она заслуживала правды — хотя бы той её части, которую он мог рассказать.

Лира посмотрела на него долгим, изучающим взглядом — тем самым, которым женщина смотрит на мужчину, пытаясь понять, что он из себя представляет на самом деле, под слоем пыли, шрамов и молчания. Её глаза скользнули по его лицу, задержались на шрамах на подбородке, на глубоких морщинах у глаз, на седых прядях в тёмных волосах. Потом перевела взгляд на свои раны, на неумело перевязанные бинтами руки, на кровь, которая всё ещё сочилась сквозь повязки, оставляя на белой ткани тёмные пятна. Она посмотрела на повозку — перевёрнутую, разорённую, бывшую когда-то домом и источником дохода. Потом на закатное

небо, которое наливалось багрянцем, как рана наливалась кровью. И во всём этом — в каждой детали, в каждом жесте, в каждом взгляде — читалась одна и та же мысль: как странно устроена жизнь. Только что ты умирал — и вот ты жив. Только что ты был в отчаянии — и вот появилась надежда. Только что ты был один — и вот рядом стоит кто-то, пусть и такой же одинокий, как ты.

— Я должна похоронить своих, — сказала она наконец тихо, почти шёпотом. — Отца. Дядю Рута. Охранников. Они были хорошими людьми — не идеальными, но хорошими. Они заслужили хотя бы это. Я не могу бросить их здесь, на съедение этим тварям. — Она кивнула в сторону птиц, которые уже облепили труп лошади и трупы псов, разрывая их клювами. — Это неправильно. Это... бесчеловечно.

Артём кивнул. Он понимал. Сам он никогда не хоронил мёртвых — в пустоши это было непозволительной роскошью, на которую не было ни времени, ни сил, ни ресурсов. Мёртвые оставались лежать там, где упали, и пустошь забирала их себе — медленно, но верно, превращая в пыль и кости. Он видел сотни непогребённых тел за годы странствий — и научился не обращать на них внимания. Но он понимал, почему она хочет это сделать. Понимал эту архаичную, иррациональную, глубоко человеческую потребность — проводить близких в последний путь, отдать им последнюю дань уважения, завершить историю. И он не собирался ей мешать. Это был её выбор, её право, её ритуал. Каждый выживает по-своему.

Он развернулся и пошёл прочь.

— Подожди! — окликнула она его. В голосе звучала паника — почти такая же, как когда она висела в проволоке и кричала от ужаса. — Ты просто... уходишь? Вот так? Даже не попрощаешься?

Он не обернулся. Продолжал идти — ровным, размеренным шагом, глядя прямо перед собой, туда, где купол обсерватории чернел на фоне закатного неба, как могильный холм.

— Там, в повозке, есть лопата, — сказала Лира торопливо, словно боялась, что он уйдёт раньше, чем она закончит. — И ещё... у меня есть кое-что для тебя. За спасение. Это не плата, — добавила она поспешно, видя, что он никак не реагирует. — Это... просто подарок. Или не знаю, как назвать. Просто возьми. Пожалуйста.

Он остановился. Не обернулся. Просто стоял и ждал, глядя на то, как последние лучи солнца окрашивают стеклянные волны в багровые и золотые тона. Красиво. Жутко красиво. За спиной слышались шаги — неровные, прихрамывающие, с паузами, во время которых она, видимо, преодолевала боль. Она подошла ближе — он слышал её дыхание, чувствовал запах крови, пыли и чего-то ещё, неуловимого — может быть, духов, которые она наносила много дней назад и которые до сих пор слабо пахли жасмином. Он почувствовал, как что-то лёгкое, маленькое, почти невесомое легло в его раскрытую ладонь. Её пальцы на мгновение коснулись его кожи — тёплые, несмотря ни на что, — и тут же отёрнулись.

Артём опустил взгляд. На ладони лежал маленький стеклянный шарик — идеально круглый, идеально прозрачный, без единого пузырька или трещинки. Внутри шарика, в самом его центре, была вплавлена крошечная бабочка. Настоящая — не рисунок, не имитация, не голограмма. Она была оранжевой, с чёрными прожилками на крыльях, с тонкими, как волоски, усиками, с изящным, сегментированным тельцем. И она казалась живой — казалось, что она

вот-вот взмахнёт крыльями, разобьёт стеклянную оболочку и улетит в небо, туда, где когда-то летали все бабочки. Но она была мертва. Застыла в стекле навсегда — в вечном полёте, в вечной красоте, в вечной неподвижности. Это было жутко и прекрасно одновременно — жизнь, остановленная в одно мгновение и сохранённая на века.

— Это фамильная вещь, — сказала Лира. Её голос дрожал — то ли от холода, то ли от волнения, то ли от осознания того, что она отдаёт последнее, что у неё осталось от прежней жизни. — Ещё довоенная. Бабушка говорила, что такие делали в одной стране, где были вулканы. Там стекло застывает с тем, что внутри, и получается... вот это. Вечная жизнь. Или вечная смерть. Смотря как посмотреть. Она должна была принести нам удачу. — Лира горько усмехнулась. — Не принесла. Может, тебе принесёт. Ты... ты заслужил. За отца. За дядю. За всех.

Артём сжал шарик в кулаке. Стекло было тёплым — то ли от солнца, которое ещё не до конца село, то ли от её рук, которые держали его, пока она шла к нему. Он положил его в тот же карман, где уже лежала костяная птица Лины — маленькая, грубо вырезанная, с обломанным крылом. Два амулета. Две девушки, поверившие в него. Две встречи, которые он не искал и не планировал. Странно устроен мир: ты идёшь по пустыне в одиночестве, уверенный, что никому нет до тебя дела, и вдруг обнаруживаешь, что оставляешь за спиной цепочку людей, которым ты зачем-то нужен. Он не просил их веры. Не заслуживал её. Возможно, даже не хотел. Но она пришла сама — непрошенная, незванная, — и теперь лежала в его кармане тяжёлым грузом ответственности.

— Иди на восток, — сказал он, не оборачиваясь, глядя на купол обсерватории. — Держись края пустыни. Не углубляйся — заблудишься опять. Через два дня будет холмистая местность — узнаешь по трём скалам, похожим на пальцы. Потом развалины старой фермы — там можно переночевать, если занять чердак и забаррикадировать лестницу. Потом автозаправка — большой навес, ржавые колонки, вывеска «ТрансОйл». Оттуда — прямая дорога на Котлован, почти безопасная. Спросишь Михея — он держит трактир «У колодца», любой покажет. Скажешь, что от Тени. Он поможет. Не возьмёт денег. Просто поможет.

— Тень? — переспросила она. — Это твоё имя?

Он не ответил. Имя — это слишком интимная вещь, чтобы делиться им с незнакомцами. Даже с теми, кому ты спас жизнь. Особенно с теми, кому ты спас жизнь.

И он пошёл дальше — туда, где на горизонте, в сгущающихся сумерках, чернел купол расколотой обсерватории. За спиной слышался её голос — она что-то говорила, может быть, благодарила, может быть, просила остаться, может быть, просто прощалась. Ветер относил слова в сторону, разбивал их на бессмысленные слоги, и до его ушей долетали только обрывки: «...спасибо...», «...береги...», «...может, ещё...». Он не вслушивался. Не потому что ему было всё равно — ему было не всё равно, и в этом была проблема. А потому что если бы он обернулся, если бы увидел её глаза ещё раз — эти светло-карие, кошачьи, заплаканные глаза, — он мог бы остаться. Остаться и помочь ей похоронить её близких. Остаться и проводить её до Котлована. Остаться и начать что-то, чему он не мог дать названия и чего он боялся больше, чем мутантов, радиации и смерти. А оставаться было нельзя. У него был путь. У него была цель — может быть, последняя цель в его жизни. И где-то там, под куполом расколотой обсерватории, под тоннами бетона и стали, ждал вход в бункер, который мог дать ему ответ. Или смерть. Или и то, и другое — что, в сущности, было одним и тем же.

Он уходил, и его тень — длинная, чёрная, изломанная — скользила по спекшейся земле, по ржавым листьям кустов, по осколкам стекла, которые вспыхивали в лучах заката алыми искрами. Где-то позади, затихая, звучал голос Лиры. А впереди, нарастая, ждала тишина обсерватории — тяжёлая, многозначительная, полная неразгаданных тайн и скрытых опасностей. И он шёл в эту тишину, как ныряльщик уходит в тёмную воду — не зная, что ждёт его на глубине, но точно зная, что обратной дороги нет. Потому что обратная дорога вела туда, откуда он пришёл — в пустоту, в бессмысленность, в существование без цели. А он слишком долго шёл, чтобы остановиться сейчас. Слишком многое потерял. Слишком малое сохранил. И единственное, что у него осталось, — это надежда найти ответ под куполом расколотой обсерватории. Даже если этот ответ убьёт его. Даже если ответа вовсе не существует. Даже если всё это — лишь ещё одна жестокая шутка пустоши, которая заманивает путников миражами и обещаниями, чтобы потом поглотить их навсегда. Он всё равно шёл. Потому что идти было больше некуда.

Глава 4. Слухи о Тени

Посёлок назывался Сухой Лог, и название это подходило ему с той абсолютной, почти жестокой точностью, на какую способна только сама природа, тысячелетиями вытачивающая ландшафт под собственное представление о порядке. Он располагался в глубокой, извилистой балке, напоминавшей гигантскую трещину в теле земли, — геологическом шраме, который когда-то, в эпохи настолько незапамятные, что о них не сохранилось даже смутных преданий, был полноводным руслом реки. Теперь же река эта существовала лишь в виде призрака — эха, застывшего в плавных изгибах рельефа, в окатанных водой валунах, разбросанных тут и там, и в самом воздухе, который, казалось, помнил былую влажность и тосковал по ней. Река пересохла не в одночасье, не в результате мгновенного катаклизма, — она умирала долго, мучительно, как умирает от неизлечимой болезни старый друг, за которым ты ухаживаешь годами, прекрасно понимая, что финал неизбежен. Сначала вода стала уходить из верховий, обнажая илистое дно, потом ручейки превратились в цепочки луж, потом и лужи исчезли, оставив после себя спекшуюся, растрескавшуюся корку глины, усеянную ракушками и рыбьими костями — белыми, хрупкими, похожими на обломки миниатюрных скульптур. Каждый шаг по этому дну отзывался сухим хрустом, словно ты шёл не по земле, а по гигантскому захоронению доисторических моллюсков.

Люди, впервые добравшиеся до этих мест после Катаклизма — обессиленные, напуганные, но всё ещё цепляющиеся за жизнь с упрямством, достойным восхищения, — мгновенно оценили стратегический потенциал балки. Её крутые, почти отвесные склоны служили естественными стенами, надёжными, как крепостные бастионы, — они не только укрывали от ветров, которые на открытой пустоши могли сбить с ног, но и создавали микроклимат: здесь, внизу, было на несколько градусов теплее зимой и заметно прохладнее летом. Сверху, над всей этой естественной впадиной, жители натянули маскировочные сети, сплетённые из материалов, которые только можно было найти в округе: сухая трава, выгоревшая на солнце до состояния пакли, обрывки проводов, полоски синтетической ткани, выуженные из развалин, — всё это, переплетённое в некое подобие гигантского лоскутного одеяла, создавало эффект полной невидимости. С воздуха — а разведывательные дроны всё ещё бороздили небо над некоторыми секторами — посёлок был абсолютно неразличим, всего лишь ещё одна складка местности, каких на изрезанной, покрытой шрамами поверхности пустоши насчитывались десятки, если не сотни. С земли обнаружить его было немногим проще: входы в балку маскировали навалы камней и заросли мутировавшего кустарника — жёсткого, колючего, с неестественно яркими фиолетовыми листьями, которые, тем не менее, отлично сливались с тенями. Те же, кто не знал точных ориентиров, просто проходили мимо, ведомые собственными делами и тревогами, — и это устраивало обитателей Сухого Лога как нельзя лучше, ибо анонимность в этом мире была синонимом безопасности.

Сухой Лог представлял собой не просто временное убежище, а полноценный торговый перевалочный пункт — один из важнейших узлов на невидимой карте коммуникаций, связавшей разрозненные очаги цивилизации. Здесь, в этом высохшем чреве древней реки, никто не жил постоянно в том смысле, в каком люди жили в городах Старого мира — с цветами на подоконниках, с выскобленными до блеска половицами, с детьми, играющими во дворах. Нет, Сухой Лог был местом транзита, перекрёстком, где пересекались пути караванов, шедших с юга на север и с запада на восток — из плодородных, но опасных Предгорий в мрачный, задымлённый Котлован, от прибрежных факторий, добывающих соль из морской воды,

к дальним северным лесам, где ещё росли деревья, пригодные для строительства. Торговцы, сталкеры-одиночки, наёмники из разных бригад, просто бродяги без определённой цели и вектора движения — все, кого судьба забрасывала в пустошь, рано или поздно оказывались здесь, притянутые, словно железные опилки к магниту, слухами о безопасном пристанище. Посёлок предлагал им то, что в условиях постапокалиптической реальности ценилось превыше любых артефактов: кров — пусть грубый, но защищённый от ветра и дождя; еду — простую, калорийную, приготовленную из того, что удалось вырастить на скрытых делянках или выменять у проходящих караванов; воду из глубокого, уходящего в самое сердце земли колодца, который, по упорным слухам, доставал до остатков подземного озера, чудом избежавшего радиационного заражения, — вода эта была чистой, холодной и отдавала минералами, что придавало ей едва уловимый, но приятный привкус. И — что ценилось поистине превыше всего, дороже патронов, дороже артефактов, дороже самой надежды — информацию. В Сухом Логе знали всё, что происходило на сотни километров вокруг: где открылись новые аномалии, пульсирующие зловещим сиянием по ночам; где видели стаю мутантов, мигрирующих в поисках добычи; какие дороги стали безопасны после того, как аномалии сместились, а какие, напротив, превратились в смертельные ловушки. Информация здесь была главной валютой — более твёрдой, чем патроны, более стабильной, чем артефакты, курс которых скакал в зависимости от спроса, и более ценной, чем сама жизнь, потому что именно информация позволяла эту жизнь сохранить.

Центром посёлка, его бьющимся, пульсирующим сердцем, его нервным узлом, в котором сходились все слухи, все новости, все тревоги и все радости, был бар. Заведение это не имело названия — в вывесках здесь не нуждались, ибо каждый, кто оказывался в Сухом Логу, и так знал, куда идти. Его называли просто «Бар», и в этом односложном обозначении заключалась вся суровая, лишённая излишеств эстетика нового мира. Располагался он в самой глубокой, в самой защищённой, в самой чреватой части балки — там, где склоны сходились почти вплотную, нависая над головой и образуя нечто вроде естественного туннеля, созданного millennia водной эрозии. Стены здесь укрепили массивными бетонными блоками, притащенными неизвестно откуда и неизвестно кем, — блоки эти хранили на себе следы былой цивилизации: полустёртые буквы маркировки, ржавые пятна от арматуры, кое-где даже фрагменты кафельной плитки, наводившие на мысли о разрушенных больницах или лабораториях. Пол засыпали мелким гравием, который приятно хрустел под ногами, создавая ощущение основательности, стабильности. Крышей служили всё те же маскировочные сети, сквозь которые днём просачивался зеленоватый, приглушённый, словно прошедший сквозь толщу воды свет, а ночью — холодный, неверный, мерцающий блеск звёзд, тех самых равнодушных светил, что наблюдали за агонией человечества уже не первый десяток лет. Внутри бара царил неизменный, въевшийся в каждую щель полумрак, нарушаемый лишь слабым сиянием масляных ламп, расставленных по столам, да красноватым мерцанием углей в жаровне, где готовили мясо. Пахло здесь сложным, многослойным букетом запахов: табаком — горьким, самосадным, от которого першило в горле; самогоном — резким, обжигающим ноздри, перегнанным из бог знает каких ингредиентов; жареным мясом — жирным, сытным, сводящим с ума голодного человека; и ещё чем-то, едва уловимым, кисловатым и слегка затхлым, — тем специфическим запахом, который неизбежно возникает везде, где собирается много людей, давно не видевших нормальной бани и вынужденных экономить воду для мытья.

В этот вечер бар был полон до отказа — казалось, само пространство уплотнилось, насытилось человеческими телами, голосами, эмоциями. Несколько караванов, движимых неопостижимой логистической синхронностью, сошлись в Сухом Логу одновременно: один шёл с далёкого юга, преодолев сотни километров выжженной земли, и вёз в своих потрёпанных,

но надёжных повозках ткани — грубые, но тёплые, окрашенные природными красителями в неяркие, землистые тона, — и лекарственные травы, высушенные, упакованные в холщовые мешочки, источавшие горьковатый, аптечный аромат; другой караван возвращался из самого Котлована — мрачного, индустриального лабиринта, где добывали артефакты и разбирали на запчасти остовы древних механизмов, — и вёз груз, от которого у любого сталкера загорелись бы глаза: светящиеся контейнеры с артефактами, завёрнутые в свинец и тряпье, и целые россыпи оружейных запчастей, каждая из которых могла вернуть к жизни чей-нибудь карабин. Торговцы, эти сметливые, битые жизнью люди с цепкими взглядами и быстрыми умами, сидели за длинными, грубо сколоченными столами, поглощали нехитрую пищу, запивали её мутным самогоном и обменивались новостями — теми самыми невидимыми товарами, которые стоили дороже всего, что лежало в их тюках. Где-то в углу, отгородившись от общего шума невидимой стеной азарта, резались в карты — старая, истрёпанная, с засаленными углами и полустёршимися картинками колода ходила по кругу, переходя из рук в руки, и на кону, тускло поблёскивая в желтоватом свете масляных ламп, лежали патроны — универсальная валюта, конвертируемая в любое благо. У барной стойки, которая представляла собой гигантскую плиту из шлифованного бетона, двое бывалых сталкеров с обветренными, покрытыми сеткой шрамов лицами жарко обсуждали маршрут через Серые холмы — территорию, пользовавшуюся дурной славой из-за нестабильных аномалий; они спорили до хрипоты, тыкали грязными пальцами в разложенную на стойке потрёпанную карту, и каждый упрямо гнул свою линию. Бармен — огромный, монументальный, как скала, мужчина с окладистой бородой, в которой запутались крошки, с могучей, будто вылитой из чугуна шеей и руками, способными, казалось, без видимого усилия согнуть подкову или свернуть кому-нибудь шею, — флегматично протирал стаканы тряпкой, которая была объективно грязнее самих стаканов, и при этом зорко, исподлобья поглядывал на зал: не назревает ли где конфликт, не переходит ли словесная перепалка в нечто более осязаемое, не пора ли призывать вышибалу — мрачного амбала, дремавшего в подсобке с обрезком трубы под рукой.

И посреди этого многоголосого шума, этой спёртой, насыщенной испарениями духоты, этого человеческого водоворота, где сталкивались судьбы, амбиции, страхи и надежды, сидела она — неподвижная, молчаливая, погружённая в собственные мысли, как в глубокий, тёмный омут. Лира. Она заняла место в самом дальнем, в самом тёмном углу, спиной к капитальной бетонной стене — привычка, выработанная годами жизни в пустоши, привычка, ставшая второй натурой, таким же базовым инстинктом, как дыхание. Никогда не садиться спиной к открытому пространству. Всегда контролировать вход. Всегда знать, кто приближается. Перед ней на шершавой, исцарапанной ножами столешнице стояла кружка с травяным отваром — буровой, горьковатой жидкостью, которая здесь заменяла чай, — но Лира почти не притрагивалась к ней, лишь изредка поднося к губам и делая крошечный глоток. Руки её, всё ещё замотанные полосами относительно чистой ткани, заменявшей бинты, неподвижно лежали на столе. Раны под этими импровизированными повязками саднили и пульсировали тупой, ноющей болью, особенно те, что были глубокими, — те, что она, стиснув зубы до хруста в челюстях, залила остатками медицинского спирта, случайно найденного среди рассыпанных, разграбленных товаров её разорённого каравана. Боль от этой процедуры была такой, что перед глазами вспыхивали и рассыпались разноцветные искры, а сознание на мгновение мутилось, словно воздух над раскалённым асфальтом. Но она терпела. Она многое, невыразимо многое терпела в последние дни — дни, которые слились для неё в один бесконечный, мучительный переход.

Путь от мёртвой обсерватории до Сухого Лога занял у неё почти четверо полных суток — четверо суток одиночества, страха и изнурительного, выматывающего физического напря-

жения. Она шла пешком, ведомая лишь приблизительными ориентирами, которые назвал тот странный человек — Тень, — держась самого края пустыни, где спекшаяся, оплавленная земля переходила в более привычную, хотя и не менее опасную равнину. Она обходила стеклянные волны — те самые застывшие гребни, что издаലെка напоминали море, схваченное морозом в одно мгновение, — тратя на обходы драгоценные часы. Ночевала она в развалинах — жалких, продуваемых всеми ветрами остовах зданий, где каждый шорох, каждый скрип оседающих конструкций заставлял сердце сжиматься в ледяной комок. Один раз ей пришлось прятаться — забиться в узкую щель между рухнувшими бетонными плитами, молясь всем богам, чтобы её не учуяли, — от стаи мутировавших крыс, тварей размером с некрупную собаку, с голыми, покрытыми язвами хвостами и горящими в темноте красными глазами; к счастью, стаю влекла какая-то другая добыча, и они пронеслись мимо её укрытия шуршащей, попискивающей волной, даже не замедлив хода. В другой раз она едва не провалилась в яму, умело замаскированную сухой травой и ветками, — старую, осыпавшуюся воронку неизвестного происхождения, на тёмном дне которой что-то мерцало, пульсировало, переливалось неестественным, гнилостно-зелёным светом. Инстинкт, тот самый, что заставлял её садиться спиной к стене, крикнул ей: «Не смотри, не приближайся, не выясняй, что это такое». И она подчинилась этому внутреннему голосу без колебаний — просто обошла проклятое место по широкой дуге и пошла дальше, считая шаги, чтобы занять мозг хоть какой-то деятельностью и не позволить ему соскользнуть в бездну отчаяния.

И всё это время — все эти бесконечные часы под равнодушным небом, под палящим солнцем, под холодным светом звёзд — она думала о нём. О человеке, который материализовался из ниоткуда, спас её от неминуемой, мучительной смерти и ушёл, даже не обернувшись, словно сделал нечто совершенно обыденное, рутинное, не стоящее благодарности. Его образ стоял у неё перед глазами с поразительной, фотографической чёткостью: измождённое, изрезанное морщинами лицо, которое, казалось, помнило все страдания мира; глубоко запавшие глаза, в чёрной глубине которых она не смогла прочесть ни страха, ни злобы, ни радости — ничего, кроме вселенской, неизбывной усталости и странного, пугающего, почти нечеловеческого спокойствия; его голос — хриплый, глухой, надтреснутый, звучащий так, словно он давно разучился разговаривать и теперь заново, с мучительным трудом вспоминал каждое слово, каждую фонему; его движения — экономные, выверенные до микрона, лишённые какой-либо суеты, движения машины, идеально настроенной на выполнение одной-единственной функции: выживать. И то, как он стрелял — это она вспоминала чаще всего, прокручивая сцену в памяти снова и снова. Два выстрела — два трупа, две тяжёлые туши, рухнувшие на спекшуюся землю. Ни одного лишнего движения. Ни одной лишней, потраченной впустую пули. Каждая пуля нашла свою цель с абсолютной, математической точностью. Кто он такой? Этот вопрос пульсировал в её сознании, как заноза в воспалившейся ране, пока она брела через пустошь, пока пряталась от тварей, пока считала шаги, чтобы не сойти с ума от одиночества и горя. Кто он? Мутант, притворяющийся человеком? Призрак, порождённый радиацией и больной фантазией? Или, быть может, ангел, ниспосланный каким-то забытым божеством? Она не находила ответа, и эта неопределённость мучила её едва ли не больше, чем физическая боль.

— Эй, девочка! — грубый, пропитанный самогоном голос вырвал её из вязкой трясины задумчивости. Она вздрогнула, моргнула и подняла глаза. Перед ней, возвышаясь над столом подобно старому, кряжистому дереву, стоял один из торговцев — пожилой мужчина с седой, окладистой бородой, одетый в добротный, выдавший виды кожаный жилет поверх свитера грубой, домашней вязки, который когда-то, вероятно, был серым, но теперь приобрёл неопределённый, буровато-землистый оттенок. В руке он держал пузатую глиняную кружку, от которой исходил резкий, сивушный дух самогона. Глаза его, бледно-голубые, выцветшие, смотрели на

Лиру с цепким, оценивающим любопытством. — Ты из Южного каравана, верно? Я видел твою повозку, когда вы выезжали из Предгорья. Старая такая, с синим тентом. Где остальные? Где мужики-то?

Лира молчала. Она не хотела говорить. Ей казалось, что слова, которые ей придётся произнести, будут иметь вес — неподъёмный, свинцовый вес реальности, который, будучи высказанным вслух, сделает произошедшее окончательным, необратимым. До тех пор, пока она не рассказала никому, смерть отца, дяди, их спутников оставалась чем-то эфемерным, дурным сном, от которого можно проснуться. Слова застревали в горле, как рыбы кости, и каждое причиняло боль. Но старик смотрел на неё выжидающе, не собираясь уходить, да и другие посетители бара — люди с грубыми, обветренными лицами, искалеченными пустошью и тяжёлой жизнью, — начали оборачиваться в её сторону, прислушиваться, затихать. Люди в пустоши любили истории. Любили жадно, ненасытно, особенно страшные, особенно кровавые, особенно чужие. Чужая беда, как ни цинично это звучит, была для них способом отвлечься от собственных страхов, способом убедить себя в том, что их собственная жизнь не так уж плоха, способом ощутить мимолётное, стыдное, но такое тёплое чувство облегчения: «Слава богам, это случилось не со мной».

— Их больше нет, — сказала она наконец. Голос её прозвучал глухо, но на удивление твёрдо, без дрожи, без истерических ноток.

В баре стало заметно тише. Не то чтобы наступила абсолютная, гробовая тишина — картёжники в углу всё так же перешёптывались и хлопали картами по столу, бармен всё так же монотонно гремел стаканами, а в дальнем конце кто-то закашлялся надсадно и долго, — но разговоры за соседними столами стали более приглушёнными, напряжёнными, словно люди инстинктивно снизили громкость, чтобы не пропустить ни слова.

— Как это — нет? — спросил кто-то из глубины зала, из густого, пропитанного дымом полумрака, и голос этот прозвучал требовательно, почти раздражённо. — Ты что говоришь-то такое?

— Псы, — сказала Лира, и слово это упало в тишину, как камень в болото. — Мутировавшие псы. Они напали ночью, на стоянке. Это было... мы не успели среагировать. Они появились из темноты, сразу со всех сторон. Мы не успели даже оружие схватить...

Она замолчала, потому что перед глазами снова вспыхнули те кошмарные, хаотичные образы: лязг зубов, захлёбывающийся лай, крики боли, искажённое ужасом лицо отца в неверном свете костра. Пальцы её непроизвольно сжались в кулаки, ногти впились в ладони, и один из порезов на тыльной стороне руки, самый глубокий, открылся — сквозь серую, запылённую ткань бинта начало медленно проступать тёмное, влажное пятно. Она даже не заметила этого, не почувствовала новой боли — слишком много боли она чувствовала сейчас внутри.

— Все погибли, — продолжила она, справившись с голосом. — Отец. Мой дядя. Ещё трое наших спутников. Все, кто был в караване. Я одна... я каким-то чудом запуталась в старой проволоке, в колючей проволоке, которая там валялась. Там была какая-то старая ловушка. Я зацепилась, не могла выбраться, висела над землёй. И это меня спасло. Псы не могли меня достать. Они прыгали, пытались допрыгнуть, но не могли. А потом... потом они просто ждали. Я видела их глаза в темноте. Они ждали, когда я свалюсь. Или когда проволока порвётся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.